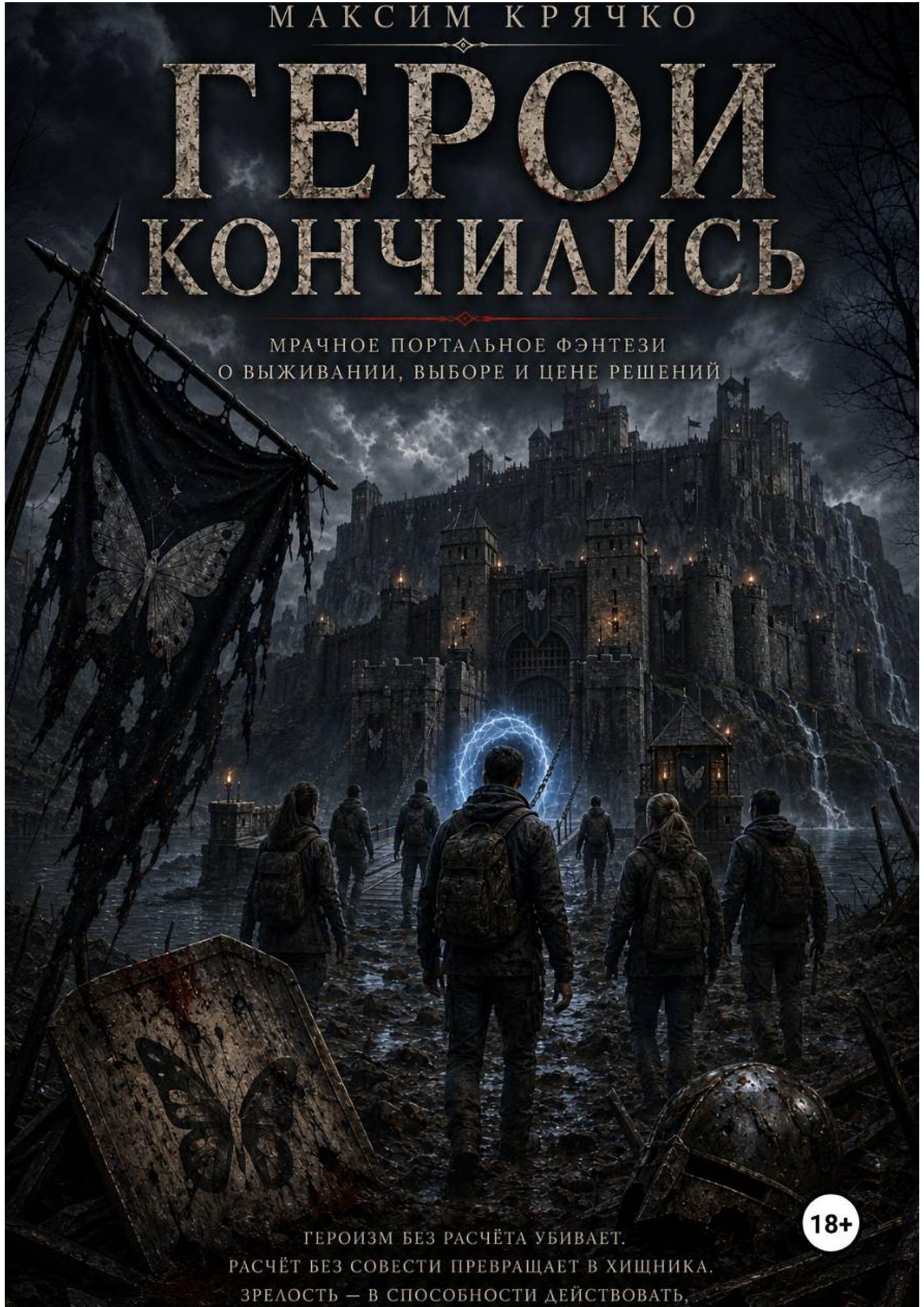


МАКСИМ КРЯЧКО

ГЕРОИ КОНЧИЛИСЬ

МРАЧНОЕ ПОРТАЛЬНОЕ ФЭНТЕЗИ
О ВЫЖИВАНИИ, ВЫБОРЕ И ЦЕНЕ РЕШЕНИЙ



ГЕРОИЗМ БЕЗ РАСЧЁТА УБИВАЕТ.
РАСЧЁТ БЕЗ СОВЕСТИ ПРЕВРАЩАЕТ В ХИЩНИКА.
ЗРЕЛОСТЬ — В СПОСОБНОСТИ ДЕЙСТВОВАТЬ,

18+

Максим Крячко

Герои кончились

«Автор»

2026

Крячко М. А.

Герои кончились / М. А. Крячко — «Автор», 2026

Они не просили отправлять их в другой мир. Не выбирали способности, которые здесь считают магией. И точно не собирались никого спасать. Но чужой мир быстро объясняет свои правила: сила всегда имеет цену, власть принадлежит тем, кто способен её удержать, а хорошие намерения редко переживают встречу с реальностью. Пока пришельцы с Земли пытаются просто выжить, вокруг них начинает рушиться хрупкий порядок — и очень скоро становится непонятно, кого здесь следует бояться больше: чудовищ, людей или тех, кто решил стать героями. Потому что герои здесь уже кончились.

© Крячко М. А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	6
Глава первая	9
Глава вторая	14
Глава третья	18
Глава четвёртая	22
Глава пятая	27
Глава шестая	36
Глава седьмая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Максим Крячко

Герои кончились

ГЕРОИ КОНЧИЛИСЬ

Книга первая

Пролог — глава 27

Пролог

Твари шли на кровь, и крови он оставлял им вдоволь.

Он не бежал. Ногами он почти не трогал землю — камни, сухой валежник уходили под ним назад, едва задетые, а порой не задетые вовсе. Там, где стопа должна была опуститься и не опускалась, в воздухе повисала лёгкая серебристая дымка, и в ней ещё держался очерк того, кто миг назад стоял тут и делся. А сам он уже возникал в семи шагах левее, сменив на бегу направление, и в то место, где он только что дышал, с треском входила пустая пасть и смыкалась на воздухе.

Лес стоял сухой, простоявший без дождя половину лета, и звенел под ногами, как хвост. Пахло разогретой смолой, пылью, нагретой хвоей. И ничем больше — ни зверем, ни птицей, ни гнилью палой листвы, в которой копошится жизнь. Мёртвый был лес. Красивый и мёртвый, как всё в этом краю, откуда за последние годы ушло всё, что дышит, — и он бежал сейчас по этой пустоте и помнил, ради чего терпит её всю жизнь: чтобы однажды она снова наполнилась. Чтобы было чем накормить тех, кто ещё остался.

За каждый рывок платило лицо. Он уходил из одной точки и возникал в другой — не переступал, не сворачивал, просто оказывался не там, где стоял, — и всякий раз под кожей у него что-то сдавало. Под глазом набухало и тут же расходилось тёплым. К скуле натекало, и натекало ещё, и ткань, которой он замотал лицо, давно не впитывала — держала, тяжёлая и мокрая. Он не смотрел, сколько с него уже стекло. Он знал, что много и что осталось меньше.

Стая шла за ним не сама по себе.

Он понял это не сразу, а когда понял — стало холодно. Твари не гнались за ним вразнобой, каждая за своим голодом; они держали строй, растекались, забирали ему пути — так гонят не голодные звери, так гонят загонщики, которым кто-то показал, куда. И одна из них шла позади всех и не торопилась. Низкая, вросшая в собственный вес, с тяжёлой башкой, которую несла к земле. Она не догоняла. Она смотрела — на него и на остальных разом, — и остальные двигались по ней, как двигаются по чужой воле, а не по своей.

Он метнулся вправо, между двумя стволами, — и там его ждали, будто знали, что он пойдёт туда. Он ушёл рывком назад и влево, возник за спиной ближней твари — и та, не оборачиваясь, уже разворачивалась ему навстречу, в то место, где он только появился. Не туда, где он был. Туда, где он будет. Кто-то считал его наперёд. Кто-то, кто понимал, что тот, кто исчезает, возникает не там, откуда пропал, — и учил их бить на шаг вперёд.

Клинки вышли из-за спины — короткие, в руку длиной, и по стали, едва она поймала воздух, потёк тот же серебряный след, что оставался за ним самим. Он перестал беречь себя. Беречь стало нечего и не для чего.

Сначала он их вскрывал. Брюхо расходилось за лезвием без сопротивления, будто внутри у них не держалось ничего, кроме темноты и пара, что валил на холодную хвою. Он бил, уходил, возникал не там, снова бил, и лицо его текло всё сильнее, и каждый рывок обходился всё дороже. Он чувствовал, как за каждое исчезновение из него уходит по глотку, и что глотков осталось на пальцах пересчитать.

А та, тяжёлая, всё стояла поодаль и вела остальных на него — не туда, где он, а туда, где он окажется, — и он ничего не мог с ней сделать, потому что до неё было не дотянуться сквозь тех, кого она бросала вперёд.

Потом они перестали опаздывать.

Он ушёл влево — а его встретили слева. Ушёл назад — сомкнулись за спиной. Круг стянулся ровно на том месте, где он должен был возникнуть, и он возник прямо в зубы.

Не откусила разом — сомкнула челюсть на левой кисти и повела в сторону, вложив в это весь свой налитый к земле вес, и он услышал собственную кость раньше, чем почувствовал:

сухой двойной хруст, с каким переламывают старую ветку. Зубы прошли сквозь запястье, не разбирая, где жила, где кость, — прошли и сомкнулись, и кисть ушла с ними. Он остался стоять. Рука его кончалась теперь выше запястья рваным, и из рваного толчками, ровно в такт сердцу, выходило наружу то, что держало его живым. Толчок. И ещё. И ещё. Он видел это очень ясно и очень спокойно, отдельно от себя, и в этой отдельной холодной части понял без слов: всё, вот и всё, дальше уже никак.

И только потом, догнав, обрушилась боль — не как боль, а как обвал, как весь лес разом рухнул ему в руку, — и он закричал. Не оттого, что было больно. Оттого, что не хотел. Не сейчас. Не так. Ещё бы немного — он ведь почти, он ведь уже успел, — и на этом «почти» его и взяли.

Вторая поймала его за бедро и потянула вниз, к остальным. Земля пошла вверх ему навстречу — та самая земля, которой он за весь бег так и не коснулся и которая забрала его с первого же прикосновения. На нём сомкнулось разом много зубов, тёплых, мокрых, спокойных, и звук, который он ещё издавал, перестал быть словами, потом перестал быть криком, потом сделался просто звуком, а потом не стало и звука.

Осталось только, как они едят. В сухом лесу это разносилось далеко.

* * *

Люди пришли на этот звук.

Живые — с факелами, что разгоняли не темноту, а лишь её ближний край, и с оружием наготове. Они шли осторожно, плечом к плечу, выставив перед собой сталь, и стали там, где начиналась кровь. Кровь стояла поверх земли чёрная и не уходила в неё — сухая земля за половину лета разучилась пить.

Старший поднял ладонь. Все встали.

Того, кто лежал посреди этого, можно было уже не сторожить, но один из охотников всё равно придавил ему грудь сапогом — на всякий случай, как придавливают то, чему не доверяют даже мёртвому. Второй обошёл поляну по краю, вглядываясь в чёрный лес. Вернулся, мотнул головой: пусто, ушли. Тех, кто это сделал, рядом уже не осталось — и, старший отметил это про себя и вслух не сказал, не осталось следов, каких ждёшь от зверя. Ни лёжек, ни помёта, ни ключев на кустах. Твари пришли из ниоткуда, сделали своё и ушли обратно в никуда — так, будто их кто-то отозвал.

Старший присел на корточки возле лежащего. Тот оказался замотан, как их и предупреждали, — тёмная ткань, глухой капюшон, всё лицо укрыто. Живой ещё. Дышал часто, мелко, пузырями.

— Наших нашли? — спросил старший, не оборачиваясь.

— Всех, — ответили сзади. — Пятерых. Все холодные.

Он кивнул, будто иначе и быть не могло. Протянул руку, стянул капюшон, а следом, поддев пальцем, — набрякшую от крови ткань с лица.

Под тканью открылась не человеческая кожа.

Серая, в цвет остывшей золы, и по ней от самых глаз чёрными сухими руслами расходилось то, что полопалось изнутри. Веки дрогнули и поднялись. Глаза глянули жёлтым — без белка, ровным нездешним светом, которого не давали ни факелы, ни луна.

Он смотрел на них снизу. Что-то шло по нему изнутри — крупной волной, от развороченного бедра вверх, — и он эту волну перехватывал где-то в горле, зажимал, не пускал на лицо. Только пальцы уцелевшей руки скребли землю, сами, помимо него. Разбитый рот, полный чёрной крови, растянулся. Он улыбался им — сквозь то, что давило, — и не давал им увидеть, чего эта улыбка стоит.

— Вы опоздали, — сказал он. Тихо, без злобы.

И тогда далеко — не здесь, а сразу везде, во все стороны сухого спящего края разом — что-то сделалось с воздухом.

Не гром. Не свет. Не звук даже — под звуком, глубже. Так вздрагивает стоячая вода в бочке, когда в самую её глубину уходит на дно тяжёлое и уже не всплывает. Воздух дёрнулся и встал обратно. Кони позади охотников разом закричали и осели на задние ноги, храпя, роняя пену. Пламя на всех факелах легло плашмя в одну сторону, будто на него дунули, — хотя не прошло ни ветра, ни дуновения, — легло и выпрямилось. И стихло.

Люди стояли и не понимали, что это. Только лошади понимали и не могли сказать.

Старший поднялся с корточек медленнее, чем сел. Он не знал, что случилось — ни здесь, на поляне, ни там, во всех концах края разом, — но одно знал наверняка, спиной, кожей, тем зверьим знанием, что просыпается раньше мысли: смолчать про это нельзя. Что бы это ни было, оно уже больше него, больше их всех, и уже идёт.

Он вынул нож и вогнал его лежащему под челюсть — коротко, без ненависти, как забивают скотину. Жёлтые глаза погасли, довольные до самого конца.

— Отпишите Его Святейшеству, — сказал старший и принялся вытирать ладонь о штанину. Тёр долго, будто это могло оттереться. — Обряд. Кровавый. Успели прервать.

Прервали они или опоздали — он уже знал. Но «прервали» ложилось в донесение ровно, а правда не ложилась никак, и он выбрал то, что легло.

Глава первая

Первое, что Саша подумал, было: больше он так не пьёт.

Мысль пришла раньше, чем он открыл глаза. Во рту стояла сушь и что-то кислое. Затылок наливался тупой, ровной болью, и стоило шевельнуться, как боль качнулась внутри, будто вода в переносимом ведре. Он лежал на жёстком, и в лицо ему било солнце — прямо, в упор, оранжевое сквозь веки.

Он приоткрыл глаза и тут же зажмурился. Свет вошёл иглой, до самого затылка, и желудок откликнулся первым.

Его вырвало — не успев сесть, он повернул голову набок, и его вывернуло на землю, длинно, желчью, потому что больше нечем. Он лежал, дыша, щекой почти в этом, и думал уже не о том, что больше не пьёт, а о том, что, кажется, помирает. Встать не хотелось. Встать не получалось — тело отказывало.

Он выждал. Перевернулся на живот, упёрся ладонями. Земля была сухая, в мелком лесном соре. Подтянул колени, поднялся на четвереньки, и его снова замутило, но обошлось. Так, на карачках, дыша, как загнанный, он простоял с минуту. Потом встал.

Встал — и не узнал ничего.

Лес. Густой, глухой, заросший понизу так, что в двух шагах не видно земли. Высокие деревья, каких он не знал, — прямые, тёмные, с корой в длинных трещинах. Ни тропы. Ни просвета. Он повернулся кругом, весь, и везде было одно: лес, лес, лес, и высоко вверх — плотный полог, сквозь который солнце падало косыми пыльными столбами.

Рядом лежал его рюкзак. Саша поднял его, дёрнул молнию — треснувший брелок, свой, знакомый под пальцами. Огляделся с рюкзаком в руках. Лес стоял чужой со всех сторон.

— Эй, — сказал он вслух, неизвестно кому. Голос вышел сиплый. — Народ.

Лес не ответил — ни птицей, ни ветром, ни тем дальним гулом, что всегда стоит на краю слуха там, где люди: трасса, электрички, чей-то генератор. Только тишина, плотная, как вата.

Он повесил рюкзак на плечо и пошёл — просто чтобы идти. Отводил ветки, лез через подлесок, спотыкался. Голова качалась. Он говорил себе: база рядом, отошёл по пьяни, заблудился, сейчас выйдет к своим. Почти верил. Верить было легче.

В стороне, шагах в двадцати, что-то лежало.

Светлое, на тёмном подлеске. Саша свернул туда, не дойдя — остановился. Это лежало неправильно. Не как оброненная куртка. У этого была форма, от которой останавливаешься сам, без команды.

Он подошёл, присел.

Кисть руки на палой хвое, ладонью вверх. Серая — не бледная, а серая, в цвет остывшей золы, — с длинными пальцами и длинными, толстыми, загнутыми когтями. Земля под ней потемнела, пропиталась чем-то на ладонь вглубь, и от тёмного тянуло сладковатым, неправильным, таким, что дышать не хотелось.

Секунду он смотрел и не складывал это в слово — глаз отказывался. А когда сложил, когда дошло, что это отрубленная рука и что она не человеческая, — грудь сжало, лёгкие встали, и он, не почувствовав движения, сделал два шага назад и сел. Ноги подломились.

Сбоку, с треском, сорвались птицы. Сердце подскочило. Он смотрел им вслед, пока не пропали, и только тогда понял, что не дышал.

— Так, — сказал он себе. — Спокойно.

Слово «спокойно» рядом с этой рукой прозвучало так глупо, что он едва не засмеялся. Мозг услужливо подсунул: не хватало таблички «территория патрулируется». Он поймал себя на этом и ему стало противно — сидеть у отрубленной когтистой руки и острить про таблички. Но чуть помогло. Ум цеплялся за что попало, лишь бы не смотреть прямо.

Он поднялся, обходя тёмное пятно дугой, и его повело в сторону — не сам пошёл, повело. И там, в кустах, лежало ещё.

На этот раз он понял сразу. Человек.

Мужчина, ничком, подвернув руку. В шортах и футболке, босой на одну ногу — вторая в сланце. Саша знал его — не по имени, имени он вспомнить не мог, — но лицо знал: вчера, или когда это было, гоняли в волейбол на песке, и этот красиво брал сетку.

— Эй. — Саша присел, тронул за плечо. — Вставай.

Плечо не отозвалось. Саша взял его за руку, перевернуть, — и рука оказалась холодная. Холодная насквозь, влажная от осевшей за ночь росы. Живое таким не бывает.

Он отдернул ладонь и лицо теперь видел сбоку: из-под закрытых век, из ноздрей, из угла рта тянулись тонкие, засохшие, потемневшие дорожки. Кровь. Старая, свернувшаяся.

Он встал. Не знал, что делать, — ни одной мысли, потому что всё, что предполагается, было из другого мира, где есть телефон, скорая, номер. Здесь был он, лес, когтистая рука в двадцати шагах и холодный человек, который вчера брал сетку.

В кустах хрустнуло.

Он развернулся на звук — резко, всем телом, вскинув руки, — и вышло не грозно, а дёргано, так разворачивается тот, кто готов бежать.

Из подлеска на него смотрел человек. В форме — тёмно-синий верх, разгрузка, кобура на поясе. Лет под сорок, крепкий, с помятым лицом и той же зеленью в коже, что Саша видел утром в чёрном экране телефона. Пистолет он держал в руке, стволом в землю, между ними.

— Стой где стоишь, — сказал полицейский. Голос сел, и оттого приказ вышел не страшным, а усталым. — Руки видно держи. Ты кто?

— Саша. Александр. — Он поднял ладони. — Я не знаю, как я тут. Я с базы, мы отдыхали. Там человек, там...

— Вижу, что человек. — Полицейский не подошёл, повёл глазами на тело и обратно. — Твой?

— Знакомый. Мы вместе, на базе. Он мёртвый. Я потрогал. Холодный.

Полицейский, не убирая пистолета, боком подошёл к телу. Присел. Двумя пальцами тронул шею, подержал, убрал. Двинул челюсть трупа, посмотрел на тёмную сетку под кожей руки — и хмурился, будто ему подсунули задачу с неправильным ответом.

— Мёртвый, — сказал он. — Не сходится только. Он тут не с утра лежит. Сутки, двое. Я на такое насмотрелся, не путаю. А вы, говоришь, вчера ещё вместе были.

— Вчера, — сказал Саша. Голос дрогнул. — Мы вчера все были.

Полицейский не ответил — и это молчание, в котором не было объяснения, испугало Сашу сильнее всего. Тот поднялся, огляделся, увидел вдалеке тёмное пятно у корней.

— А там?

— Рука. Не человеческая.

Полицейский пошёл смотреть. Встал над находкой, долго молчал.

— Чья, по-твоему?

— Не человеческая же.

Он вернулся с замкнутым лицом. Про руку больше ничего не сказал — закрыл эту тему в себе, как закрывают дверь в комнату, где что-то не так.

— Игорь, — сказал он и сунул пистолет в кобуру, клапан не застегнув. — Телефон есть?

Саша достал. Экран засветился обычно, до тошноты обычно — половина заряда, часы идут. Только вверху пусто, ни палочки, значок поиска крутится впустую. И дата. Саша посмотрел на дату дважды, потому что с первого раза не сошлось: выходило, что с той ночи на базе прошло не утро. Прошло одиннадцать дней.

Он показал экран Игорю. Тот посмотрел, ничего не сказал, только желваки прошли по скулам — он-то уже сложил это со своим трупом, который лежал «сутки, двое». Сходилось одно с другим плохо и страшно.

— Не ловит.

— Ни у кого не ловит. — Игорь смотрел на крутящийся значок с мрачным удовлетворением. — У меня служебный и свой, оба пустые. Я час по лесу — нигде ничего. Не «не добивает», а нет её. Совсем.

Он присел над телом, деловито проверил карманы, поясную сумку. Достал разбитый телефон, убрал в нагрудный карман.

— Ты чего.

— Опознать потом. Родным сообщить. — Он застегнул сумку на теле, аккуратно, будто это ещё имело значение. — Хоронить нечем и некогда. Оставляем так.

Родным сообщить. Саша посмотрел на разбитый телефон в нагрудном кармане Игоря — и промолчал. Пусть.

* * *

Пошли в сторону, обратную солнцу, — держать хоть одно направление.

Игорь так решил, Саша не спорил. Шли молча. Лес не менялся. Под ногами хрустело сухое.

— Станный лес, — сказал через время Игорь. Он поглядывал по сторонам не как заблудившийся, а как человек, привыкший осматривать местность. — Ни грибов. Ни ягод. Я лес знаю, я не городской. Так не бывает, чтоб совсем пусто. А тут пусто.

Саша поглядел — и понял, что тот прав, и что сам не замечал, а теперь не мог развидеть: ни гриба, ни ягоды, ни следа зверя, ни птичьего гнезда. Живой на вид — и мёртвый в смысле еды.

Желудок свело — не тошнотой, голодом. Саша порылся в рюкзаке: початая вода, пауэрбанк, дождевик и — обрадовался, как ребёнок, — мятый шоколадный батончик.

Разломили пополам, съели на ходу. Двое взрослых мужиков делят батончик, как школьники. Саша сказал это вслух, и Игорь усмехнулся — коротко, без веселья, но усмехнулся, и обоим стало чуть легче.

А потом они увидели дым. Тонкий, сизый, ровный столбик над деревьями — костёр, не пожар. Человеческий.

Переглянулись и, не сговариваясь, пошли быстрее.

* * *

У костра было четверо, и костёр — Саша это сразу увидел — горел толково: сложен шалашиком, обложен камнями, поддувало с наветренной стороны. Не паникой разведён.

Развела его женщина, что как раз подбрасывала ветки, — молодая, растрёпанная, в футболке с чужого плеча, с ссадиной на локте, которую не замечала. Мария. Из его отдела, пришла недели за две до всего, он сам её беседовал. Она обернулась на шаги, оглядела Сашу с Игорем быстро, оценивающе — не испуганно.

— О, ещё двое. — Она вытерла руки о шорты, оставив полосы. — Александр Дмитрич. Хорошо, что живой. Садитесь, грейтесь, только не в ту сторону — дым понесёт.

Не «что нам делать» — «садитесь, не в ту сторону». Саша сел, где сказано.

Двое парней, лет по двадцать, жались ближе к огню — рослый, рыхлый и мелкий, дёрганный. И — Саша узнал и почувствовал, как отпустило в груди, — Витя.

Витя вскочил, вцепился Саше в локоть обеими руками.

— Дмитрич! Живой! — Голова его дёргалась, глаза бегали по лесу, по людям, обратно. — Я уже по головам прошёлся, я считаю — нас мало, Дмитрич. Ты, я, Машка, вон те двое студенты, и ещё Олег где-то был, я Олега видел. Пал Сергеича не видал? Из логистики. Пал Сергеича нет, Катерины Львовны нет, я всех перебрал, у меня на лица память...

— Пал Сергеича видел, — сказал Саша.

Что-то в том, как он сказал, дошло до Вити раньше слов. Тот перестал тараторить.

— В смысле видел.

Саша не ответил. Отвёл глаза к огню. Катерины Львовны нет — это осталось где-то сбоку, отдельным, и он не стал этого трогать при всех.

— Мёртвый, значит, — сказал Витя тихо и, помолчав секунду, снова затараторил, быстрее прежнего, будто разгоняясь от страха: — Ну а мы чего, мы держимся, вон костёр, вон нас сколько...

Мария перебила — не грубо, деловито:

— Нас несколько. Нас мало, и еды ни у кого нет. Я спрашивала. У кого что было — по мелочи, на один зуб. — Она подкинула ветку. — Сидеть и ждать — это мы досидимся. Надо решать, куда идти и где вода.

— Куда идти, ты знаешь? — подал голос рослый студент, Никита, глухо, снизу вверх.

— Не знаю пока. Значит, узнаем. — Мария сказала это так, будто «узнаем» — уже полдела.

Игорь всё это время стоял, слушал, осматривал поляну, людей, костёр — привычным, оценивающим взглядом. Теперь заговорил, и голос у него, ещё утром севший, набрал служебную твёрдость:

— Правильно горит костёр. Кто сложил?

— Я, — сказала Мария.

— Молодец. — Он оглядел всех. — Меня зовут Игорь, я сотрудник полиции. Значит так. Паниковать прекращаем, это первое. Второе — дым надо держать, дым видно далеко, по нему нас и найдут. Не расходиться никому. Кто в лес поодиночке — не возвращается, уже, считай, проверено.

Он говорил разумно, и это была логика прежнего мира, где ищут, где есть кому искать. Саша слушал и молчал, и в голове у него холодной ниточкой тянулось другое — но он не сказал, потому что сказать было нечего взамен, а отнимать у людей костёр и надежду он не имел ни права, ни слов.

Одно он всё же заметил — не про надежду, про дрова.

— Днём один костёр держи, — сказал он Игорю. — Не три. Дым и с одного видно, а дерева меньше. Сушняк тут не бесконечный, таскаем всё дальше. На ночь оставим побольше.

Игорь глянул на него — коротко, оценивающе, как на человека, от которого впервые услышал что-то по делу.

— Дельно. — И кивнул парням: — Слышали? Днём один держим.

Мелочь. Но его услышали, и Саша поймал себя на том, что от этого — от одной услышанной мелочи — ему стало легче, чем за всё утро.

Олег нашёлся через полчаса — приплёлся на дым, сел, где сел, и стал складывать в кучку рассыпанные из чьей-то сумки чужие вещи: зарядку, ключи, размокшую пачку салфеток, — в ряд, аккуратно.

— Александр Дмитриевич, — сказал он виновато. — Тут вещи чужие. Я собрал. Отдадим, как хозяин найдётся.

Никто не сказал ему, что хозяин не найдётся. Мария открыла было рот — и не сказала, только глянула на Сашу. Саша качнул головой. Пусть складывает.

* * *

Ближе к вечеру пошли собирать на ночь.

Разбрелись по краю, не теряя костра из виду, — на этом Игорь настоял, и это было разумно. Ломали сушняк, тащили к огню. Работа отпустила: руки заняты, есть смысл в движении. Мария таскала охапками, роняла половину, злилась, собирала снова, таскала опять — больше всех. Олег носил меньше, но не ронял. Витя больше говорил, чем носил.

Никита ушёл дальше других — за кусты, в подлесок, где сушняка было гуще. Полез туда, куда осторожный не пошёл бы. Слышно было, как он ходит, хрустит.

Потом хруст прекратился.

— Народ. — Голос Никиты из-за кустов был не испуганный — пустой. — Идите сюда.

Пошли. Саша первым, за ним Игорь. Обогнули кусты, вышли на то, что было за ними, — и встали.

Другая поляна, большая, длинная, светлая — солнце падало в неё широко. И вся она, от края до края, лежала усталая людьми.

Они лежали в траве — навзничь, ничком, боком, поодиночке и вповалку, — в шортах, в футболках, в летних платьях, в шлёпанцах, кто с рюкзаком, кто с откатившейся из руки бутылкой. Их было столько, что глаз не собирал их в число, а скользил и скользил, и всё не кончалось, и делалось нехорошо, как от высоты.

А потом, в середине, один из лежащих пошевелился.

Приподнялся на локте. Повёл мутной головой. За ним села, держась за виски, женщина. Дальше зашевелился ещё кто-то, и ещё, — по всей поляне люди приходили в себя, поднимались из травы, садились, оглядывались пустыми со сна глазами. Поляна, которую Саша долю секунды читал как поле мёртвых, поднималась. Медленно, отовсюду, десятками, она вставала на ноги.

Глава вторая

Шестьдесят человек — Саша сосчитал позже, когда стало не до чего другого, — не строятся по команде.

Поляна встала не разом. Одни поднимались и брели, натываясь на других, ещё не понимая, что вокруг люди. Другие сидели и качались. Кого-то рвало. Женщина неподалёку трясла лежащего мужчину за плечо, звала по имени, ровно, без слёз, уже долго, и не видела и не слышала ничего вокруг. Над поляной стоял низкий разноголосый гул из шести десятков людей, каждый из которых только что в одиночку потерял мир.

Мужчина, которого трясла женщина, не поднимался. Саша прошёл мимо, увидел его лицо сбоку — закрытые глаза, тёмные дорожки из ноздрей — и не остановился, потому что помочь было нечем, а женщина ещё не знала, и он не взял на себя ей сказать.

Не все встали. Это Саша понял сразу и отдельно: среди спящих были и те, кто уже не спал.

Он пошёл в толпу, потому что в ней были свои. Между лежащими и встающими, вглядываясь в лица, отбрасывая чужие, — и на ходу, ещё не решив, уже позвал:

— Витя! Олег! — А за ними, тише, себе, четвёртое имя, которое было не как первые. — Катя.

Своих собрали быстро. Витя вынырнул сам, вцепился. Олега нашли сидящим — тот и здесь сложил перед собой чужие вещи в ряд. Мария вела за собой обоих студентов, придерживая мелкого Дениса за рукав, чтоб не потерялся. Никита шёл сам, глаза по сторонам без страха, с тем же тупым любопытством, с каким давеча полез за кусты.

Пятеро своих. Шестеро с Игорем. Все живы.

Саша не остановился. Он ещё стоял вполоборота к толпе и смотрел, смотрел в лица тех, кто вставал, — и обошёл ближний край, где гуще, заглянул; вернулся; прошёл в другую сторону. Витя что-то говорил в спину, Мария окликнула — он не слышал.

— Дмитрич. — Витя нагнал, тронул за локоть. — Всех наших собрали же. Ты кого?

— Никого, — сказал Саша и пошёл обратно. Искать дальше значило показать, что ищет, а показывать он не стал. — Пойдём.

* * *

К середине дня толпа сама потянулась к тем, кто говорил громче.

Люди — существа стайные; отгоревав первое, они стали сбиваться в кучки, искать, за кем стоять. Громче всех оказался Игорь. Он влез на поваленный ствол, чтоб видели.

— Внимание! Прошу внимания! — Голос набрал служебную медь. — Граждане! Меня зовут Игорь, я сотрудник полиции. Прошу всех успокоиться. Паника сейчас — наш главный враг. Кто умеет развести огонь — сюда. Есть медики, врачи, фельдшеры — ко мне. У кого вода или продукты — попрошу не расходовать поодиночке, снесём в одно место, распределим на всех поровну. И главное: никто не расходится. В лес по одному не уходить. Кто ушёл — уже не вернулся, это установлено.

Отозвались не все. Кто-то потянулся — пошёл к огню, понёс к общей куче бутылку, обрадованный, что можно делать понятное. Но многие даже головы не подняли. Женщина всё трясла своего мужчину. Двое пожилых переглянулись, и один сказал, не вставая, ни к кому: «Полиция. Ну-ну». У самой кучи с водой уже сцепились двое — один не хотел отдавать своё. Ребёнок кричал не переставая, на одной ноте. Игорь повторял, повышал голос, и голос тонул, — потому что горе и страх не строятся по команде, и форма, которая в прежнем мире значила «слушаться», здесь значила уже меньше, чем ему было надо.

— Граждане! Я к кому обращаюсь!

Не слышали.

Тогда он вынул пистолет и выстрелил в воздух.

Грохот ударил по мёртвому лесу и раскатился далеко. Толпа смолкла разом — все головы к нему. Ещё звенело в ушах, где-то плакал ребёнок, и больше ничего.

— Вот теперь слышим, — сказал Игорь в тишину, ровно. — Спасибо.

Не словом взял — выстрелом. Саша посмотрел на пистолет в его руке и отвернулся.

Первым делом занялись мёртвыми — теми, кто не проснулся. Их набралось с десяток: лежали, где легли с вечера, с той же чёрной запёкшейся кровью на лицах, что и у волейболиста в лесу. Оставлять их среди живых было нельзя — жара стояла, к полудню от них уже потянуло. Хоронить нечем и некогда; несколько мужчин, отворачиваясь, оттаскивали тела по одному за дальние деревья, в подлесок, с глаз. Кто-то накрыл первых куртками, чужими, ненужными теперь; на последних курток не хватило, и их просто сложили. Женщина, что с утра трясла своего мужчину, шла за теми, кто нёс его, и не плакала уже, а просто шла, и это было хуже, чем если бы плакала.

* * *

Воду снесли к одному месту, и Саша, глядя на эту кучу бутылок, впервые за день посчитал — и то, что он посчитал, было хуже всего утреннего.

Он не мог не считать; это делала за него та часть, которой он зарабатывал на жизнь. Шестьдесят человек. Взрослому, чтобы просто не умирать лёжа, нужно тысячи полторы килокалорий в сутки; а они не лежат — ходят, таскают, мёрзнут ночью, значит вдвое. Воды — литра по два, по три на человека, в жару и на ходу — больше. Помножь на шестьдесят. Это сотни литров воды в день. Каждый день. Без единого перерыва.

Он посмотрел на кучу. Там было бутылок сорок, початых, разнокалиберных. Литров тридцать. На вечер. Может, на утро, если делить по глотку.

А лес пустой. Ни ручья, ни ягоды, ни зверя. И план — сидеть кучей и ждать спасателей, которых нет, — это план, при котором шестьдесят человек начинают умирать от жажды послезавтра, а от голода чуть позже, ещё до всякой твари. Куча в мёртвом лесу — не спасение. Это очередь, и очередь короткая.

Он огляделся, ища, кому это сказать так, чтобы поверили и не легли помирать прямо сейчас, — и не нашёл ни лица, ни слов. Мария бы поняла. Но Мария в эту минуту тащила к общей куче чью-то канистру, надрываясь, и верила, что таскать — уже дело.

* * *

Свет к вечеру не сел, а загустел — как остывающий жир, — и толпа притихла сама собой, вся разом, будто каждый по отдельности почувал то же.

Костры горели. Люди жались. Саша сидел со своими у крайнего огня. Никита не сиделось — он всё поднимался, отходил к темноте на краю поляны, вглядывался в чащу, возвращался.

— Не свети туда, — сказала Мария. — Сядь.

— Да там кто-то, — сказал Никита, не садясь. — Ходит.

И тогда за краем поляны, в чаще, где свет не доставал, хрустнуло — тяжело, неспешно.

Толпа стихла разом. В тишине слышно было, как оно движется, — большое, не таясь, вдоль края, по кругу. Хрустнуло слева, потом ближе, потом справа. Их обходили.

— В круг, — сказал Игорь, поднимаясь, и голос у него сорвался с командного на простой, человеческий. — Все в круг, к огню, спиной к огню!

Не успели.

Оно вышло не там, где ждали, — вышло на свет разом с трёх сторон, и Саша впервые увидел их целиком. Твари ростом с человека, но не люди — сутулые, серокожие, поджарые, с длинными руками до земли и вытянутыми, приплюснутыми мордами, полными зубов. Одишальные, тощие от голода, с рёбрами наружу. Глаза отражали костёр жёлтым. Они не рычали. Они шли молча, деловито, и молчание было хуже рыка.

Толпа лопнула. Крик, давка, люди кинулись от края к центру, сминая костры, друг друга, тех, кто не встал. Порядок, который Игорь строил весь день, слетел за одно мгновение — не было никакого круга, было стадо, бегущее внутрь себя.

Игорь стрелял. Саша слышал хлопки — раз, другой, третий, — и один визг, короткий, звериный, значит, попал. Но их было много, а он один, и пистолет против такого — это две обоймы против голодной стаи.

— К деревьям! — крикнула Мария — не Игорю, своим. — Наши, за мной, к деревьям, спиной встанем!

И это было умнее, чем «в центр»: у центра давили своих, а спиной к стволу тварь заходит только спереди. Саша схватил Олега, толкнул Дениса перед собой, они кинулись к краю, к толстому стволу, — Мария, Витя, Олег, Денис, Саша, — сбились спиной к дереву, и Саша выставил перед собой первое, что было в руке, — сук, палку, он не помнил что.

Никиты с ними не было.

Саша обернулся — и увидел его. Никита не побежал ни в центр, ни к деревьям. Он стоял, где стоял, у самой темноты, и смотрел на выходящую из чащи тварь с тем же тупым любопытством, с каким смотрел на всё, — на полшага ближе к ней, чем к своим. Может, не успел испугаться. Может, не поверил.

— Никита! — заорал Саша. — Сюда!

Тот повернул голову на крик — медленно, будто нехотя оторвался, — и в это мгновение тварь взяла его.

Не как в кино. Буднично. Она сбила его с ног одним движением длинной руки, навалилась, и Саша увидел, как дёрнулись Никитины ноги в кроссовках, и услышал звук, который потом не смог забыть, — короткий, влажный, — и ноги перестали дёргаться. Всё заняло секунды.

Денис закричал — тонко, страшно — и рванулся туда.

По всему, что Саша знал уже про этот мир, Дениса надо было пустить: бегущий к твари человек — это ещё секунды для тех, кто у дерева. Саша поймал его за шиворот и вжал спиной в ствол, и держал, пока тот бился. Считать он умел. Отпустить — не смог.

— Стой. Стой. Поздно.

* * *

Они ушли, насытившись, — под утро, когда небо посерело.

Ушли так же неспешно, как пришли, — взяли, сколько взяли, и растворились в чаще. Саша не считал, сколько недосчиталась поляна. Не хотел. По тому, как мало теперь было гула, выходило — много. А за дальними деревьями, куда днём оттаскивали мёртвых, к утру не осталось ничего — ни тел, ни курток; там прибрали дочиста, и об этом никто не сказал вслух ни слова.

Своих — пятеро. Денис сидел у корней, где его отпустили, и не двигался, и смотрел в одну точку, и с ним никто не говорил, потому что говорить было нечего. Олег дрожал. Витя беззвучно, часто крестился. Мария сидела, обхватив колени, и в лице у неё не было ни слёз, ни паники — только что-то сухое, старое, взрослое, чего Саша в ней раньше не видел и что, он догадался, было в ней всегда, просто пряталось под старательной девочкой.

Игорь стоял посреди поляны, над теми, кого не стало, с пустым пистолетом в опущенной руке, и смотрел, как редее тьма. К нему подходили — жаться, спрашивать, что теперь. Он был всё ещё тот, за кем идут. Он отбивался, он стрелял, он единственный что-то делал. Ему верили ещё больше, чем вчера.

А Саша сидел у дерева и складывал — против воли, потому что не складываться оно не могло. В куче взяли тех, кто с краю и кто в центре. А тех, кто отбился к дереву малой горсткой, спиной к стволу, — не тронули. Стадо гибнет серединой и краем. Отбившийся выживает — если отбился с умом.

Он посмотрел на своих. Пятеро. Посмотрел на толпу, что тянулась к Игорю, к костру, к теплу большого числа. И понял, что нужно делать, и что это гадко, и что он это сделает.

Днём — уходить своей группой. На разведку, к воде, подальше от гвалта и дыма, что зовёт из чащи голодное. А на ночь возвращаться к толпе. Не потому, что толпа защитит, — потому, что тварь возьмёт кого-то из шестидесяти, и чем больше вокруг чужих, тем меньше, что возьмут кого-то из пяти.

Прятать своих за чужими. Так это называлось, и по-другому оно не называлось никак.

* * *

Он сказал им утром, отойдя от толпы, тихо.

Мария качала головой раньше, чем он договорил.

— Нет. Не так. — Она не смотрела на него, смотрела в землю, и говорила рывками, будто выдёргивала слова по одному, и они шли плохо. — Уходить — да. Кучей — сдохнем, это я ещё вчера... неважно. Но не так. Днём туда, ночью обратно — это... — Она мотнула головой, подбирая. — Слушай. Они медленные. Половина в тапках, дети, вон. Мы к ним привязаны выходим. Мы не уйдём дальше, чем они за день проползут, — иначе к ночи не дойти назад. И весь день — туда-сюда, туда-сюда, ихним шагом. — Она наконец подняла глаза, и в них была злость, сухая. — Ради чего? Чтоб ночью стоять в толпе и слушать, кого сегодня. Если уходить — так совсем. Налегке. Своими. Найдём воду — живём. Не найдём — ну... — Она не договорила. — Но своей ногой. Не в очереди.

Где-то посреди этого она уронила «Дмитрича» — впервые за все две недели, что он был ей начальником, — и не заметила, и он не заметил тоже.

Она была права. Саша знал, что она права, — по темпу, по дороге, по всему. И знал, что всё равно сделает по-своему, потому что её правда требовала риска, которого он не мог на себя взять: увести пятерых живых людей в пустой лес без воды, совсем, без страховки, поставив всё на то, что найдут. Он не мог. Тень была трусливее — и оставляла путь назад.

— Пока — тень, — сказал он. — Найдём воду, разведем — тогда решим про совсем. Пока держимся возле них. На всякий случай.

— На всякий случай, — повторила Мария, и в том, как повторила, было всё, что она думала про его всякий случай.

Олег поднял голову.

— А те? — Он показал глазами на толпу. — Мы что же, от них... это как — бросим?

— Не бросим, — сказал Саша. — Мы к ним на ночь.

— На ночь, — сказал Олег и опустил голову, и стал смотреть на свои руки, и было видно, что он не понял, как это — и уйти, и не бросить, — и что пойдёт за Сашей всё равно, потому что Саша старший и Саша сказал, а сердце пусть болит отдельно.

Витя оживился первым.

— А чё, дело! — Он уже прикидывал, глаза забегали. — Малой группой оно и правда. Меньше народу — меньше кипеш. Дмитрич соображает. Я ж говорю — держаться надо своих.

Своих. Саша посмотрел на него и подумал, что Витя понял его лучше всех и хуже всех сразу — понял выгоду и не заметил стыда, — и что в этом Витя, пожалуй, честнее его самого.

Глава третья

К рассвету ушли первые.

Дождались света — в темноту после этой ночи не двинулся бы никто — и пошли: семья с двумя подростками, за ними ещё трое, потом, сам по себе, тот мужчина, что с вечера сидел ото всех отдельно. Игорь вышел к ним, убеждал не расходиться: вместе безопаснее, вместе найдут. Его слушали вежливо и уходили. Он не мог их удержать — ни словом, ни силой, а другого у него не было. Саша смотрел, как он стоит на краю поляны и глядит уходящим в спины, и видел человека, который отдаёт приказ и знает, что приказа больше нет.

С общим запасом вышло то же. Вчера в шоке снесли к одному месту бутылки, кто-то и еду. За ночь одумались. К утру над кучей стоял тихий, некрасивый делёж: люди разбирали своё обратно, пряча по рюкзакам, отводя глаза. Никто не хотел отдавать последнее в общее, когда общего почти не осталось. Игорь не стал мешать — понял, кажется, что удержать это можно только силой, а силы у него нет.

Зато вокруг него появились люди.

Трое или четверо — из тех, кому в хаосе легче, когда есть кому подчиняться и кем командовать в ответ. Держались при Игоре, повторяли за ним, говорили толпе «давайте, как решили», и в их «решили» уже было это «мы». Один, жилистый мужик с обветренным лицом, сидел у костра и ладил колья — обламывал сушняк в рост, затёсывал конец, держал остриё над углями, поворачивая, пока дерево не темнело и не начинало звенеть под ногтем. Работал сноровисто; рядом двое пробовали за ним и портили — то тесали толсто, то жгли до угля, — и он, не глядя, забирал, поправлял, отдавал обратно.

— Сухую бери, не сырую, — только и говорил. — Сырая гнётся.

Люди подходили, брали готовое. К середине утра колья были у многих — заострённые обожжённые палки, копы на бедняцкий манер. После первой ночи объяснять никому ничего не требовалось. Офисные люди в шлёпанцах стояли с копыями в руках и примеряли их к ладони, и в этом было что-то, на что Саша не хотел смотреть долго.

Игорь тем временем собирал остальных. Идти цепью, широким гребнем, по солнцу — прочёсывать лес, искать воду и еду, не терять друг друга из виду. Разумно. Единственно разумно для толпы, которая не может ни спрятаться, ни разбежаться. Саша слушал издали и не спорил. У него был другой план.

* * *

Ночью они с Олегом почти не спали, и от этого вышла польза.

Лежали у прогоревшего костра, и Саша не мог провалиться — стоило закрыть глаза, возвращались Никитины ноги в кроссовках. Олег рядом тоже не спал.

— Небо не наше, Александр Дмитриевич, — сказал он вдруг из темноты. — Лежу, смотрю — и ни одной не узнаю. Ковша нет. Ничего знакомого.

Саша поднял глаза. Он до этого вверх не смотрел, незачем было. Теперь посмотрел: сквозь прогал в кронах стояли звёзды, много, ярко, и ни одна не складывалась ни во что, что он когда-нибудь видел. Чужие. Он и не думал, что небо тоже может быть чужим, — а оно было, и от этого сделалось хуже, чем от руки на хвое, чем от трупа: те хоть были здесь, на земле, а это — надо всем, и не поправить.

— И как же тогда идти, — сказал Саша. — По звёздам не выйдет.

— По звёздам пока нет. Пригляжусь — может, разберу; за ночь-другую видать станет, какая стоит, какие ходят вокруг. А днём и без звёзд можно. — Олег говорил спокойно, деловито, и в темноте не слышно было того виноватого голоса, с каким он обычно говорил, а слышен был другой человек. — Воткнул палку, отметил, где тень. Обождал. Тень поползла — вот

тебе восход-закат, а там и стороны. Солнце здешнее, а всходит-заходит, как наше. За него и держись. Я по молодости этим жил — ориентирование. По области бегал с картой. Призы брал.

Саша повернул голову. Олег лежал на спине, смотрел в чужое небо и, кажется, не боялся его — примеривался, как к задаче. Помощник, которого все привыкли перепроверять, оказался единственным на всю поляну, кто умел вывести отсюда и вернуться.

Саша лежал и первый раз за двое суток думал не о том, как страшно, а о том, что можно сделать.

* * *

Они вышли, едва рассвело, своей группой, в сторону от толпы.

Пятеро: Саша, Мария, Олег, Витя, Денис. Денис шёл молча, пустой после ночи, но шёл — за спинами, держась. Взяли колья, пустые бутылки, то немногое, что было. Олег впереди — воткнул палку на первой прогалине, дождался тени, кивнул сам себе и повёл. Пошли за ним быстро, налегке, не оглядываясь на медленный гребень толпы, что тянулся где-то позади и левее.

Вдвое быстрее. К середине утра ушли туда, куда толпа доползла бы к вечеру.

И почти ничего не нашли.

Грибы попались раз — десятка два, бледные, тонконогие, у корней поваленного ствола. Мария присела, понюхала, повертела, положила обратно.

— Не наши. Не трону. — Она вытерла руку о шорты. — Гриб не ягода. Ошибёшься — и всё.

— Да ты чё, Машк. — Витя уже сидел на корточках, вертел шляпку, разламывал, смотрел на срез. — Это ж почти свинушка. У нас за райцентром таких — хоть косою коси, мамка жарила. Гля, и мякоть на изломе не синее. Едовые, зуб даю.

— Зуб он даёт. — Мария смотрела недоверчиво. — А если только с виду свинушка?

Спорили недолго — за Витю спорил голод. Сошлись: срезать срежут, но не жрать всей оравой. Сварят вечером, Витя первым попробует малым, раз ручается, остальные обождут: доживёт до утра здоровым — тогда и все. Витя пошёл на это легко, даже гордо, собрал грибы сам, ссыпал в пакет как выигрыш.

— Доживу — с вас поляна благодарности, — сказал он.

Воды не было нигде. Утром, по прохладе, Олег показал собрать конденсат — обтирали тряпками мокрую от росы траву, отжимали в бутылку; ползали по прогалинам на карачках и за всё утро впятером надавили едва литр, мутный, с трухой. Витя предложил давить сок из хвои — где-то слышал. Мяли лапник, крутили — хвоя за половину лета без дождя отдавала не сок, а густую смолистую массу, горькую, вязнущую в зубах; Витя лизнул, скривился, сплюнул.

— Не. Это клей, а не вода.

К полудню жара встала стеной — полог держал зной под собой, как крышку. Пить хотелось так, что Саша ловил себя на том, что думает о воде картинками: кран, запотевшее стекло из холодильника. Литр на пятерых не тронули, берегли. В низине под вечер нашли лужу — стоячую, бурую, с плёнкой поверху, — и, поморщившись, набрали по бутылке мутной жижи: на всякий случай, который в этом лесу наступал быстро. От жары Олег придумал мочить этой же водой футболки и обвязывать головы; помогало ненадолго, ткань высыхала за полчаса и покрывалась разводами грязи, и к вечеру они шли чумазые, в бурых потёках.

* * *

Плоды нашёл Витя — на обратном пути.

— Дмитрич! Сюда! Гля!

Кусты в человеческий рост, на них — мелкие тёмно-красные плоды гроздьями, с косточкой, чуть вяжущие. Похоже на боярышник. Витя уже жевал, набивал рот.

— Съедобное! Точно, я боярку с детства жру, у бабки под забором росла — точь-в-точь! Налетай!

Налетели. Ели жадно, горстями, обдирали ветки, и это было первое за двое суток, что попадало в рот и было едой, а не водой и не смолой. Наелись — не досыта, но по телу пошло тепло, лёгкое, живое: сахар, хоть какой-то. Ненадолго — сладкая сытость вспыхнула и через час осела, голод вернулся, — но час этот был.

— Слабоваты. — Мария смотрела на обобранные кусты. — Поел — вроде полегчало, а через час опять сосёт. Далеко на таких не уедешь. — И, подумав: — Но всё лучше, чем хвою жевать. Собираем, сколько влезет.

Собрали, сколько влезло, — в пакет, с собой.

* * *

Назад чуть не ушли мимо.

Олег вёл верно — по тени, по солнцу, — но лес к вечеру стал одинаковый со всех сторон, и даже он в какой-то момент остановился, поворочал головой, и Саша увидел на его лице то, чего боялся: сомнение. Пару минут стояли, и в этих минутах было близко то, как это бывает, — двое суток без воды, чумазы, в чужом лесу, и человек, который вёл, вдруг не уверен.

Потом Денис, молчавший весь день, поднял руку и сказал первое за день:

— Дым.

Тонкая сизая струйка стояла над деревьями левее, чем они шли. Олег выдохнул, сверился, поправился, повёл на дым, и через полчаса они вышли к поляне, к костру, к гулу — меньшему, чем утром, гулу.

* * *

Толпа делила добытое, и делить было почти нечего.

Их стало меньше. Саша не хотел считать и всё равно посчитал, глазами, привычно: вчера было под шестьдесят, сегодня — сорок с небольшим. Ночь взяла своё, рассвет увёл ушедших. От круглого числа, которым он вчера мерил воду и калории, осталась убыль, которую тоже надо было чем-то мерить.

Цепь прочесала лес весь день и принесла с гулькин нос: пару горстей таких же бледных грибов, немного бурой воды из другой лужи, чью-то заначку сухарей, которую всё-таки сдали в общее. Люди сидели вокруг котелка — единственного на всех, чьего-то, походного, литра на три.

В стороне от костра лежали отравившиеся. Днём в цепи кто-то набрёл на ягоды — чёрные, незнакомые, не то, что нашла группа Саши, совсем другие, — и наелся, не утерпев, и других угостил. Теперь их выворачивало всухую, скрючивало, и над ними сидели свои, беспомощные: помочь было нечем — ни промыть, ни напоить, кроме той же бурой воды. Двое совсем плохи, серые. Дойдут до утра или нет — не знал никто.

Саша смотрел на скрюченных и ждал, что почувствует правоту, — и не почувствовал. Его группа ела сегодня то же самое. Чужие ягоды с чужого куста, и Витя набивал рот первым и всех звал. Просто им попалась боярка, а этим — вот это.

Повезло с кустом, подумал он. Только и всего. Повезло.

И от того, что в этом была вся разница между его сытыми и теми, зелёными, — стало холодно.

* * *

К ним подошла женщина — из тех, кто держался при Игоре, лет сорока, цепкая, с блокнотом в руке (блокнот, откуда-то взявшийся блокнот, в котором она что-то вела).

— Вы пятеро. Уходили с утра отдельно. — Это был не вопрос. — Нашли что-нибудь? Всё общее сносим к котлу, вон учитываю. — Она показала блокнот.

Саша молчал секунду дольше, чем следовало. Мария ответила за паузу — коротко, жёстко:

— Нашли. Своё. Сами ходили, сами нашли.

— Тем более сносите. — Женщина не повысила голоса, но за спиной у неё уже поворачивались головы. — Все сносят. Так решили. Не по одному же спастись.

Саша посмотрел на голодные лица, и на детей среди них, и сказал то, что надо было сказать, — через силу, потому что говорить это было мерзко.

— Не сносим. — Негромко, и оттого все стали слушать. Он подбирал слова не потому, что не находил, а потому, что каждое было противное. — Отдадим всё в общее поровну — в другой раз никто не станет рвать жилы. Идти-то все пойдут, куда денешься. А вот лезть в овраг, отклоняться, рыть под колодами — за так, в общий котёл? Никто. — Он поморщился, будто через это надо было переступить. — Пойдут вполсилы. И найдут вполсилы. Не потому что нет ничего. Потому что искать всерьёз станет незачем.

— То есть вы своё жрёте, а мы смотрим, — сказал кто-то из толпы, зло.

— Что нашли — то ваше, — сказал Саша, и это давалось тяжелее всего. — Пойдёте завтра, найдёте — тоже ваше. Так хоть кто-то ищет всерьёз. А в общий котёл — так все вполсилы и сдохнем. Поровну.

Ему было мерзко это говорить. Он видел лица — голодные, злые, испуганные, — и видел среди них детей, и что «своё ваше» для матери, ничего не нашедшей за день, звучит как приговор. Он был прав. И от того, что был прав, легче не становилось — становилось хуже, потому что правым тут было гадко.

Мария стояла рядом плечом к плечу и рубила прямо, без его оговорок:

— Чего вылупились? Сами ходите, сами ищите. Мы за вас ноги били? Нет. Всё.

Толпа гудела. Кто-то держал кол, не поднимая, просто держал, — и от того, что у половины в руках были заострённые палки, воздух стал плотнее. Никто не двинулся. Но Саша впервые ясно почувствовал, что грань, за которой люди идут друг на друга, теперь не где-то, а вот здесь, в двух шагах, и держится на одном честном слове, которого может и не хватить.

Игорь всё это время молчал у котла. Теперь сказал — тяжело, не уступая, а будто ставя условие:

— Пусть. Каждый за себя нашёл — каждый за себя и ест. Справедливо, не маленькие. — Он оглядел Сашину пятёрку. — Но костёр общий, и вода в котле общая. Кто у общего греется — тот и правила знает.

Саша расслышал в этом «кто у общего греется» зарубку на будущее и понял, что Игорь не забудет ни этого вечера, ни того, кто при всех отбил у голодных их долю.

* * *

А потом «своё ваше» разбилось о котелок.

Грибы, которые группа Саши стерегла весь день, есть сырыми было нельзя — отравя. Сварить их можно было в одном месте на всю поляну: в общем котле, над общим огнём. Своё — было, а приготовить своё в одиночку было не в чем.

Мария держала пакет и смотрела на котёл с ненавистью человека, которого переиграли не люди, а обстоятельства.

— Издевательство, — сказала она тихо. — Мы за них весь день... а теперь в общее.

— В общее, — сказал Саша. — Или никак.

Грибы отправились в котёл — свои, чужие, вперемешку, вместе с горстью сухарей и бурой водой. Витя, как обещал, зачерпнул первым, подул, съел варёный гриб, подождал, прислушался к себе, показал большой палец: живой. Тогда стали черпать все, по очереди, в крышки, в ладони, в найденную банку.

Только черпать было почти нечего. Десятка три грибов на четыре с лишним десятка ртов разварились в ничто — дали навар, цвет, запах, и всё. Люди пили тёплую мутную воду, в которой грибами только пахло. Группе Саши досталось того же — по глотку бульона, где их грибов было уже не сыскать: ни своих, ни чужих, одна общая тёплая муть.

Бульон был тёплый. Это было в нём лучшее. Не вкус — тепло.

Глава четвёртая

Ночь прошла спокойно, и это оказалось хуже нападения.

Никто не верил тишине. После первой ночи каждый шорох на краю поляны был тварью, каждая тень — той, что выйдет сейчас. Люди сидели, вцепившись в колья, вглядывались в темноту до рези, и темнота вглядывалась в ответ. Спали урывками, по очереди, и почти никто не выспался. Игорь не спал вовсе — Саша видел его под утро у прогоревшего костра, серого, с красными глазами, всё ещё при кобуре, и в лице у него было не бесстрашие, а тупое упрямство человека, который держится на одной злости, потому что больше держаться не на чем.

К утру вся поляна стала такой — злой, дёрганой, невыспавшейся. Люди, которые вчера ещё говорили друг с другом осторожно, сегодня цеплялись с полуслова. У воды поругались из-за очереди; где-то заплакал ребёнок, и на него прикрикнули, чего вчера бы никто не сделал. Усталость съедала в людях то, что делало их вежливыми, и обнажала то, что под этим, — и это под этим было не очень.

Саша поднял своих затемно.

— Уходим, — сказал он тихо. — Пока не рассвело толком. Пока эти не расчухались.

Игорь всё-таки заметил. Догнал на краю, серый, злой.

— Опять по-своему? — Голос у него сел, и оттого вышло не грозно, а гадко. — Гуляйте. Только помните: жрёте вы своё, а прячетесь ночью за наши спины. Красиво устроились.

— Красиво, — согласился Саша и пошёл. Спорить не было ни сил, ни смысла; Игорь был прав, и оба это знали, и от того, что прав, легче Игорю не делалось.

* * *

Растерзанного нашли к середине утра.

Сперва — рюкзак. Разодранный, вывернутый, зашвырнутый в куст, и Саша узнал его: тот самый, с которым вчера на рассвете ушёл в лес мужчина, что сидел ото всех отдельно. Тот, что решил идти совсем, один, своей волей.

Тела не было. Была одежда — клочья, разбросанные по кустам, бурые, задубевшие. Был сломанный телефон. Был баллончик дихлофоса, швейцарский нож, зажигалка, размокшие документы в файле, ключи от квартиры, которой больше нет, — весь тот мелкий мусор, что человек таскает с собой и что переживает его. Еды не было. Воды не было. То, ради чего он ушёл искать, он не нашёл, а нашло его другое.

Мария подняла нож, раскрыла, проверила лезвие, сложила, сунула в карман — молча, деловито, без брезгливости. Нож в этом мире стоил дороже человека, который его не уберёт.

Никто ничего не сказал про то, что это значит. Не надо было. Он ушёл совсем, один, — вот что осталось. Саша посмотрел на клочья и ждал в себе правоты — своей правоты, дневной, за которую вчера бился: не уходите совсем, тень безопаснее. Правота не пришла. Пришло другое, холодное: это мог быть любой из них. Мария вчера хотела ровно этого — уйти совсем, налегке, своими. Ушёл бы он с ней — лежали бы тут клочьями все пятеро.

Он глянул на Марию. Она смотрела на разодранный рюкзак, и лицо у неё было замкнутое, и он понял, что она думает то же, — и что не отступится всё равно.

— Один шёл, — сказала она, будто себе. — Один. Мы бы впятером. . . — И не договорила, потому что впятером — это было бы просто пять таких рюкзаков вместо одного, и она это знала.

Их накрыло — не разом, а как накрывает: сначала Денис задышал часто, потом Витя начал говорить и не мог остановиться, что надо назад, к людям, к костру, тут нельзя, тут ходит такое. Паника поднималась снизу, из живота, и Саша почувствовал её и в себе.

— Назад, — сказал он. — К остальным. Сейчас.

В кои-то веки Мария не спорила.

* * *

Игорь встретил их возвращение так, как и следовало ждать.

— Что, нагулялись? — Он оглядел их, чумазных, перепуганных, и в глазах у него было мутное, усталое удовлетворение. — Своим умом-то оно как? Погуляли, штаны намочили — и назад, к общему костру. Ну сидите. Грейтесь. Все умные, пока не припечёт.

Саша не ответил. Отвечать было нечем — Игорь был прав и в этом.

День, впрочем, впервые за всё время дал не только страх. Цепь, прочёсывая лес, вышла в лошину между двумя пологими холмами — и там, в тени, тёк ручей. Настоящий, живой, с чистой водой по камешкам.

Люди кинулись к нему, забыв всё. Пили, зачерпывая ладонями, окунали лица, обливались, мочили тряпье, смеялись — впервые за дни кто-то смеялся, — и на несколько минут вся поляна, вся эта злая, голодная, перепуганная толпа снова стала просто людьми у воды в жаркий день. Саша пил, и вода была холодная, живая, и от неё ломило зубы, и это было счастье — простое, звериное, ни на что не похожее.

Запаслись — все бутылки, все ёмкости. Наделали компрессов на головы. И — ещё удача, вторая за день, — кто-то заметил на склоне дерева с шишками, крупными, смолистыми. Полезли, посбивали, разломали — а в шишках, под чешуёй, оказались орешки, мелкие, маслянистые, жирные. Первая настоящая еда за всё время: не вода, не пустая ягода, а жир, тот самый, которого телу не хватало до звона. Люди лущили шишки, набивали рот, перемазались смолой, и было в этом что-то от детского счастья — лазать по деревьям, сбивать шишки, грызть орехи.

И вот тут, к воде, на этот шум и запах живых людей, из-за холма вышли чужие.

* * *

Их было трое.

Двое мужчин и женщина, и Саша с одного взгляда отметил то, от чего внутри стало неспокойно: они были свежее. Не сытые, нет, — но крепче, ровнее, отдохнувшие, без той серой измотанности, что лежала на всех у ручья. Как будто эти дни обошлись им дешевле. Как будто они что-то знали.

И — второе, что Саша отметил и отложил, — они были без оружия. Ни кольев, ни палок. Все на поляне за эти дни обзавелись хоть заострённой дубиной, а эти трое вышли из леса с пустыми руками, спокойно, будто им нечего бояться.

Игорь вышел им навстречу — старший к старшим, по форме, по привычке. Разговорились. Чужие рассказывали то же самое: очнулись поодиночке, не помнят как, лес чужой, своих потеряли. Только рассказывали спокойно, без дрожи, — как о деле, а не о кошмаре.

— Тварей видали? — спросил Игорь.

— Видали, — сказал старший из них, жилистый, с внимательными глазами. — Убили троих.

— Чем? — вырвалось у Марии. — Вы ж без ничего.

Один из чужих, помоложе, открыл было рот — с готовностью, будто ему как раз хотелось рассказать, — но старший едва заметно повёл рукой, и молодой закрыл рот и отвёл глаза. Мелочь. Саша заметил и эту мелочь тоже, и сложил её к остальным: свежие, без оружия, троих тварей убили, а как — не говорят. Не сходилось. Они что-то недоговаривали, и это что-то было большое.

— Голыми руками не убьёшь, — сказал Саша тихо, ни к кому.

Старший чужак посмотрел на него — коротко, оценивающе, как на единственного, кто задал правильный вопрос, — и не ответил.

* * *

Про волка рассказали сами, охотно, — видно, это можно было.

— Там, дальше, — старший махнул рукой на восток, — туша лежит. Волчина огромный, с лошадь. Кто-то его завалил до нас, давно. Мяса на нём — гора, только не подойти: протух, вонь на полверсты. Есть нельзя.

— А толку тогда, — сказал Игорь.

— Толк есть. — Чужак усмехнулся. — На вонь падальщики идут. Мелкие, стайные, каждый вечер приходят жрать. Мы их сколько раз пытались взять — не даются, шустрые. Но мяса на них — по-хорошему. Если ловить с умом, всем миром — можно взять.

Предложил охоту. Игорь ухватился — это было дело, понятное, мужское, дающее людям занятие вместо страха. Договорились быстро.

Ловить решили ямами. Копать было нечем — палки, обломки, плоские камни, руки; земля сухая, поддавалась плохо, и к полудню вся охота выкопала несколько неглубоких ям с отвесными стенками, кое-как, больше содрав кожу с ладоней, чем вынув земли. Замаскировали ветками. Оставалось ждать вечера.

Игорю предложили: если увидит дичь — стрельни, чего патроны беречь. Игорь отказался, твёрдо:

— Патроны на тварей. Не на крыс. Мало ли что ночью.

Сказал уверенно, начальственно, и никто не усомнился. А Саша, стоявший рядом, вспомнил первую ночь — как Игорь стрелял, раз, другой, третий, много, — и как палил в воздух днём, на поляне, для острастки. И подумал, тихо и отдельно, что если посчитать, сколько тот выстрелил, то беречь Игорю, пожалуй, уже нечего, и «патроны на тварей» — это не про патроны, а про то, чтоб никто не знал, что их нет. Подумал — и не сказал. Пустой пистолет, о котором все думают, что он заряжен, стоил Игорю власти больше, чем заряженный.

* * *

Падальщики пришли в сумерках, как и обещали чужие.

Их Саша разглядел впервые: приземистые, тёмные, с крысиными мордами, но крупные — с хорошего бобра, только без хвоста, — и двигались стайей, шныряя, вынюхивая. Люди кинулись на них — с кольями, с криком, — и, конечно, не поймали никого: твари брызнули врассыпную, юркие, быстрые, и растворились между стволов. Только двое, в общей суматохе, сгоряча влетели в ямы и забились там, визжа.

Вытащили, добили, и это было — мясо. Настоящее, красное, тяжёлое. Люди смотрели на двух жирных тварей так, как не смотрели ни на что за все эти дни.

А четверть часа спустя из леса вышел молодой чужак — тот, что чуть не проговорился, — и приволок трёх. Трёх падальщиков, взятых где-то там, в темноте, одному. Как — не сказал. Бросил их к общей добыче и отвёл глаза, а старший его опять глянул коротко, и молодой смолк, хотя и так молчал. Люди недоумевали — как один, без ямы, в темноте, взял трёх шустрых тварей, которых вся толпа с кольями не смогла? — недоумевали и списали на удачу, на охотничью сноровку. Все, кроме Саши. Саша сложил и это.

* * *

Из-за добычи и сцепились.

Чужие потребовали свою долю — одну тварь целиком. Игорь встал.

— С чего целую? Вас трое. Одна тварь — это кило три мяса, три кило на всех нужны не меньше вашего. Своих вон сколько.

— Своих у тебя сколько хочешь, — сказал старший чужак спокойно. — А тварей мы взяли — треть. Тот пацан один трёх приволок, пока твои впятером двух в яму загнали. Наша доля — наша.

— Здесь я решаю, как делить, — сказал Игорь, и в голосе прорезалось то, что за эти дни в нём копилось. — Я тут порядок держу.

— Ты? — Чужак посмотрел на него почти с любопытством. — Кто ты такой, чтоб решать? Форма? Форму сними — и кто ты? Никто. Такой же, как все. Тут нет никакого «решаю». Тут кто взял — того и мясо.

Это было ровно то, чего Игорь не мог стерпеть, потому что это была правда, и правда, сказанная вслух при всех. Он шагнул. Чужак не отступил. Толкнулись — грудь в грудь, коротко, зло. И сразу же вокруг поднялись колья: люди Игоря, лоялисты, злые и голодные, качнулись вперёд, и чужаки — трое против толпы — встали спиной к спине, и в руках у них по-прежнему ничего не было, и они всё равно не боялись, и вот это «не боялись» было страшнее всех кольев.

И Саша сказал — негромко, но так, что слышали:

— Отдайте им тварь.

Игорь обернулся, как ужаленный.

— Чего?

— Они взяли треть. Пацан один притащил трёх. — Саша говорил сухо, по делу, как умел. — Не отдашь долю тому, кто добыл, — в следующий раз он на тебя добывать не станет. Так же, как я вчера тебе про то же. Взял — твоё. Они взяли.

Мария дёрнулась рядом — зло, коротко:

— Ты чью сторону, Саш? Игорь наше говорит. Мясо на всех делить — это и нам мясо.

И это был тот редкий раз, когда Мария оказалась по одну сторону с Игорем, а Саша — против неё, и Саша это чувствовал, и всё равно не мог иначе, потому что правило было важнее того, кому оно сейчас выгодно. Отбери у чужих их долю силой — и завтра никто ничего не принесёт, и своё правило, вчерашнее, он же и растопчет.

Ещё несколько злых реплик — и чужак вдруг сам оборвал. Посмотрел на толпу, на колья, на Игоря, махнул рукой.

— Подавитесь. — Он отпихнул тварь ногой к общей куче. — Берите. Всё одно вам недолго. — Он оглядел поляну, костры, людей — медленно, без злобы, почти с жалостью. — Покойники вы. Все тут. Кучей сидите, костром светите — вас по этому костру и найдут. Не мы. Другие.

И трое, не оглядываясь, пошли обратно в лес — хотя уже темнело, хотя все знали, что значит идти в лес на ночь глядя. Они шли так, будто ночь была на их стороне.

* * *

Саша догнал их за деревьями, тайком, отстав от своих.

— Стой. Постой. — Он нагнал старшего, и тот обернулся без удивления, будто ждал. — Возьмите нас. Мою группу. Пятеро.

Старший смотрел молча.

— Зачем ты мне? — сказал наконец. — Пятеро лишних ртов. У меня своей еды нет.

— Не ртов. Рук. — Саша говорил быстро, сухо, как на переговорах, где всё решают полминуты. — Пятеро рабочих рук — это не обуза, это добыча, оборона, копать, таскать. И — у меня есть человек, который ориентируется. По солнцу, по тени, выводит и возвращает, не плутает. Вы вон сами не знаете, куда идти, я по вам вижу. А он знает. — Он помолчал. — И я умею делить так, чтоб из-за еды не резались. Ты видел сейчас. Я тебя от них же и отбил.

Старший смотрел на него — долго, оценивающе, тем же взглядом, каким давеча. И Саша понял, что тот прикидывает не «нужны ли», а «чем эти пятеро обойдутся» — считает, как считал бы сам Саша, и от этого стало почти легко: с тем, кто считает, можно договориться.

— Навигатор, значит. — Старший кивнул своим мыслям. — Ладно. Приводи. Но учти: у нас свои правила, и правила простые. Кто не тянет — уходит. Понял?

— Понял.

* * *

Своих Саша увёл в темноте, тихо, чтобы не видел лагерь.

Чужие привели их недалеко — с полверсты, не больше, — под корневище огромного дерева, вывороченного когда-то бурей: земля вздыбилась стеной, корни сплелись сводом, и вышло убежище — тесное, тёмное, укрытое со всех сторон, снаружи не разглядеть. Ни костра, ни дыма. Тихо. Саша понял сразу, чем это лучше поляны: сюда не выйдешь на свет и гвалт, потому что нет ни света, ни гвалта. Спрятаться, а не отбиться, — вот их правило, и это было то самое, к чему Саша шёл, только они уже дошли.

Еды не было ни у кого. Сидели в темноте, жевали жёсткое волокнистое мясо падалыщика, полусырое, и это всё равно было пиршество.

А потом Витя, покопавшись в куртке, вытащил — воровато, довольно — два шоколадных батончика. Мятых, подтаявших, целых.

— Держите, — шепнул он. — Заначил.

Откуда они у него, Витя не объяснил, а Саша не спросил. Своих припасов у Вити не было — все давно съели. Значит, чужие. Значит, увёл — у кого-то там, у котла, в суматохе, вместе с котелком, который Саша заметил у него за спиной, чьим-то, общим, единственным на всю поляну котелком, который теперь был их. Саша посмотрел на батончик в своей руке и на котелок за спиной Вити и не сказал ничего. Съел. Сладкое обожгло рот до боли — отвыкли.

Витя мародёрствовал у обречённых, и обречённые от этого не становились обречённые, а группа Саши — живее. Саша знал это и молчал, и в молчании было согласие.

* * *

Он заснул сытым — впервые, — и оттого крепко, и оттого не сразу понял, что его будит. Крики.

Далёкие, из темноты, оттуда, где остался лагерь. Не один — много, разом, тот особый общий крик, который Саша уже слышал однажды и ни с чем не спутал бы. На поляну напали. Твари пришли на костёр, на гвалт, на кучу, — как и говорили чужие, как говорил он сам, как выходило по всему, что он знал.

Дыма не было видно — только звук, катящийся через ночной лес, тонкий, страшный, живой. Саша лежал под корнями, в тесной тёплой темноте, среди своих, целых, сытых, спря-
танных, — и слушал, как гибнут те, от кого он ушёл.

И то, что он почувствовал первым, раньше ужаса, раньше жалости, было облегчением. Голым, звериным, постыдным облегчением: не мы. Там — не мы. Мои — здесь, целые, рядом, дышат. Не мы.

А следом, догнав, накрыл стыд — за то, что первым было это. Но первым было это. И Саша лежал в темноте и слушал чужую смерть, и был ей рад, и ненавидел себя за то, что рад, и всё равно был рад, — и в этом, он понял, и есть теперь его жизнь: радоваться, что взяли не тебя, и жить с тем, что радуешься.

Глава пятая

Проснулся Саша от того, что затекла шея.

Свет под корневищем стоял ровный, серый, утренний — такой бывает, когда солнце только выкатилось. Спина ныла от земли, шея не поворачивалась влево, во рту было сухо, но внутри — впервые за все эти дни — не звенело. Он спал долго. Он спал так, как не спал ни разу с той ночи на базе.

Напротив, у земляной стены, спала девушка. Ночью она ложилась в другом месте — Саша помнил, где, потому что укладывался последним и всех обвёл глазами. Значит, вставала. Значит, ходила куда-то, и он не слышал; и никто, похоже, не слышал.

Он выбрался наружу, шурясь.

У остывших углей сидел на корточках Витя и щерился.

— О, поднялся. Я уж думал, до обеда пролежишь.

— Где все?

— Собираются. — Витя мотнул головой на восток. — К лагерю пойдут, глянуть, чего там. Машка, Олег и эти двое, мужики ихние. А я тут остаюсь, при хозяйстве. — Он показал подбородком на что-то у корней, накрытое лопухом. — Девка ещё затемно поднялась, ушла и часа через полтора приволокла двух зайцев. Мне их обдирать.

— Зайцев.

— Ну не зайцев. Похожи. Уши подлиннее, лапы не такие. Я почём знаю, как их тут звать.

— Витя пожал плечами. — Зайцы и зайцы.

— Она их чем взяла?

— А вот и я про то. Не сказала. И никто не сказал. Принесла и принесла.

Саша посмотрел на восток, где между стволами уже собирались, и сказал:

— Я с ними.

* * *

Шли впятером: Олег, Мария, Владимир, Матвей и он.

Владимир не возражал, только глянул — и в этом взгляде было то же, что вчера, когда Саша предлагал сделку: не «зачем ты идёшь», а «сколько ты будешь стоять по дороге».

Шли быстро. Полверсты, не больше, но лес за ночь стал другой — Саша не узнавал ничего, а Олег вёл уверенно, без палки и без тени, просто вёл. К середине пути Саша поймал себя на том, что идёт налегке и что это непривычно: руки пустые, живот не подведён, ноги держат. Он выспался. Впервые за неделю тело не мешало голове, и оттого голова работала ясно и считала быстрее, чем ему хотелось.

Дым не стоял. Это он отметил первым, ещё за деревьями: над поляной не было ничего.

* * *

Костры прогорели давно.

Первыми он увидел вещи: рюкзаки, куртки, чью-то кроссовку отдельно от всего, пластиковую бутылку, из которой натекло и высохло. Их было столько, будто люди на минуту отошли.

Потом он увидел людей.

Они лежали не так, как лежали спящие в первое утро. Те лежали ровно, рядами, как их положили. Эти лежали, как их застали: у костров, на полпути к деревьям, кучей у самого края, где давили друг друга. Один — на корточках, привалившись к стволу, и Саша долго не мог понять, почему тот выглядит неправильно, а потом понял: у него не было ниже пояса.

Он пошёл вдоль края.

Восемнадцать у костров. Одиннадцать в куче. Ещё девять по всей поляне, поодиночке, и трое у деревьев, куда всё-таки добежали и где это им не помогло. Сорок один. Вчера на поляне было сорок с небольшим.

Он посчитал второй раз, потому что первый счёт не оставлял места для тех, кто ушёл. Второй дал то же.

— Сорок один, — сказал он вслух.

— Не всех нашли, — отозвалась Мария. Она шла в десяти шагах и переворачивала — брала за плечо и переворачивала, лицом вверх, коротко смотрела и шла дальше. — Кто-то уполз. Крови вон полосами, а на конце ничего.

Она делала это ровно, без брезгливости, и Саша смотрел на неё сбоку и думал, что три дня назад она правила пункт про форс-мажор.

Ребёнок лежал ближе к центру. Саша увидел его издали и обошёл по дуге — широко, шагов за десять, — и обошёл не потому, что решил, а потому что ноги сами взяли в сторону. Обратно он тем же местом не пошёл.

Мёртвых гоблинов было четверо.

Они лежали там, где их достали, и вокруг каждого земля была вытоптана — там дрались. Саша подошёл к ближнему. Тот был сухой, лёгкий на вид, с рёбрами наружу, и на боку у него засохло чёрным. Копьё лежало рядом.

Олег уже поднял одно — вертел, смотрел на проточку.

— Ихние копыта, Александр Дмитриевич. Не наши. Смотрите, как примотано — жилой, крест-накрест, и смолой ещё промазано, чтоб не ползло. Это ж делать надо уметь. Это ж не палку обжечь.

Саша взял копьё. Оно легло в руку ровно, сбалансированно, древко было отструганным и вытертым до гладкости чужими ладонями. Кто-то его делал. Кто-то долго ходил с ним, притёр под свою руку.

Он вдруг понял, что до этой минуты думал о тварях как о зверях.

* * *

— Обувь смотрите, — сказал Матвей.

Он стоял над телом у костра и показывал носком. Саша подошёл. Мужчина лежал ничком, и ноги у него были босые — обе, и не так, как бывает, когда слетело: аккуратно, чисто, без единой царапины на щиколотках.

Саша огляделся и увидел, что босых много. Не всех разули — но многих, и сняли нервано, а как снимают.

— Зверь обувь не снимает, — сказал Матвей. — Вот и думай.

Владимир глянул на него, коротко. Матвей закрыл рот.

* * *

Игоря нашли не они. Их нашли сами.

Из подлеска, с дальнего края, кто-то позвал — негромко, сипло, без надежды, что услышат. Так зовут, когда зовут уже давно.

Саша пошёл на голос первым. Не потому, что храбрый — потому, что стоял ближе.

За кустами, в яме под вывороченными корнями, было двое. Саша узнал обоих сразу: они держались при Игоре с первого дня, повторяли за ним, ходили с его словами по толпе — «давайте, как решили». Один был тот самый, жилистый, что ладил колья и говорил «сухую бери, не сырую». Второй помоложе, круглолицый, и щёки у него теперь обвисли.

Они сидели по обе стороны от лежащего и не встали, когда подошли.

— Живой, — сказал жилистый. — Второй день живой.

Игорь лежал на боку, подтянув колени. Форменная куртка на нём была расстёгнута, кобура на месте, клапан не застёгнут — как он её носил всегда. Он дышал часто и мелко и при каждом выдохе издавал звук, который Саша сначала принял за слово, а потом понял, что это не слово: тонкое, ровное, на одной ноте, как скулят.

Лицо у него было в бурых дорожках.

Из ушей — по обеим сторонам, засохшее в волосах. Из ноздрей — двумя полосами к подбородку. И от глаз, из внутренних углов, вниз по щекам, так что казалось, будто он плакал долго и давно.

Такие же дорожки были у волейболиста в лесу, в первое утро. И у тех, кто не проснулся на поляне.

Те не вставали. Этот второй день лежал живой.

— Что с ним? — спросила Мария.

— А мы знаем? — Жилистый смотрел не на неё, на Игоря. — Он в ту ночь... — Он остановился, поискал слово и не нашёл. — Он такое делал, чего не бывает. А потом сел и больше не встал.

Круглолицый молчал и держал Игоря за плечо, придавливая, — так придавливают, когда человек мечется, а он не метался.

Игорь открыл глаза.

Белки у него залило красным до самой радужки. Он посмотрел мимо Саши, куда-то за плечо, и заговорил.

— Гра... граждане. — Голос вышел из него сухой, служебный, и Саша узнал его сразу, этот голос: с повалённого ствола, в первое утро. — Прошу вни... прошу внимания.

Он попытался приподняться на локте, не смог, и рука его пошла вниз, к поясу, — знакомо, коротко, отработанно, — вошла в кобуру и вытащила пистолет.

Никто не двинулся.

Игорь не поднял его ни на кого. Он поднял его вверх — как поднимал тогда, над головой, чтобы слышали, — и рука пошла в сторону, и ствол закачался, и он нажал.

Щёлкнуло.

Он нажал ещё. Щёлкнуло опять — сухо, мелко, и в сухом лесу этот звук не разнёсся никуда, умер на месте.

Пальцы разжались. Пистолет упал ему на грудь, соскользнул на землю, и Игорь опустил руку и снова стал скулить на одной ноте.

Владимир подошёл и посмотрел на него сверху.

Он не спросил, что случилось. Саша ждал этого вопроса — любой бы спросил, — и вопроса не было. Владимир смотрел на дорожки из ушей, из глаз, из ноздрей, и лицо у него было такое, как у человека, который читает знакомый документ и ищет в нём только номер.

Он глянул на Матвея.

Матвей не глянул в ответ. Он отвернулся ещё раньше, чем Владимир поднял голову, и стоял к яме спиной, и прутик у него в пальцах ходил туда-сюда.

— Уходим, — сказал Владимир.

— Куда его нести? — спросил Олег.

— Никуда.

Денис вышел вперёд.

Он вышел молча, обошёл Марию и присел у Игоря на корточки — тот самый Денис, который третьи сутки не говорил и смотрел в землю, — и взялся за куртку у ворота, будто собирался поднимать сам.

— Не трогай, — сказал Владимир.

Денис не отпустил.

Саша смотрел на его руки, вцепившиеся в чужую куртку. В прошлый раз он держал эти руки, вжимал их спиной в ствол и не отпускал, пока тот бился.

— Денис, — сказал он. — Пойдём.

Денис поднял на него глаза.

Саша выдержал. Это он умел — выдерживать взгляд, когда решение принято и обсуждать нечего; он делал это годами, в кабинетах, людям, у которых забирал то, что нельзя было не забрать.

Денис разжал пальцы и встал.

Жилистый поднял голову.

— Мы останемся, — сказал он.

Это был не вопрос и не просьба. Он даже не посмотрел на Владимира, когда говорил, — сказал в сторону, как говорят о погоде.

— Дело ваше, — сказал Владимир.

Круглолицый как держал Игоря за плечо, так и держал.

* * *

Саша шёл последним и потому слышал.

— Погоди-ка.

Жилистый сделал два шага следом и остановился — дальше от ямы отходить не хотел. В руке у него был пистолет, поднятый с земли.

— Забери. Нам ни к чему.

Саша взял. Пистолет оказался легче, чем он думал.

— Он в ту ночь тоже так, — сказал жилистый. — Щёлкал. Я рядом стоял, я слышал — щёлк, щёлк, и всё. Я тогда решил, заело у него. Или патрон перекосило, бывает же.

— А он берёг, — сказал он. — Он же говорил: патроны на тварей, не на крыс. Мы и не лезли к нему, чего лезть, у человека две обоймы, он лучше знает, куда их. — Жилистый помолчал. — Их и не было, значит.

Саша молчал.

— Не по злобе он, — сказал жилистый, будто оправдывался, и непонятно было, за Игоря или за себя. — Знал бы кто, что пусто, — так и слушать бы перестали в первую же ночь. А так хоть держались.

Он ещё постоял.

— Ты иди, — сказал он. — Иди уже.

Саша пошёл.

За спиной, из ямы, тонко и ровно тянулось на одной ноте, и тянулось долго, пока лес не съел звук.

* * *

Возвращались молча.

Обратно шли дольше. Мария несла свою поклажу тяжело, перехватывала, роняла, поднимала снова. Олег тащил охапку бутылок и три копыя. Владимир не нёс ничего. Матвей, шедший налегке, поигрывал прутиком.

Саша отметил это — не думая, само отметилось.

* * *

Витя встретил их у корневища и, увидев, сколько всего тащат, побежал навстречу с пустыми руками.

— Живые! Я уж думал, всё, не вернулись. — Он подхватил у Марии рюкзак и тут же, не переставая, кивнул на угли: — А у меня супец. Готов давно, стоит стынет.

В котелке — в том самом, украденном, стоявшем теперь на их углях как своя вещь — было варево.

Мутное, серое, с волокнами разваренного мяса и плёнкой жира поверху. Саша зачерпнул крышкой, хлебнул. Пресно, без соли, отдавало псиной и мокрой шерстью; всякий человек той, прежней жизни выплюнул бы и ушёл.

Саша выпил залпом и потянулся ещё.

— Э, э. — Витя перехватил его руку. — Помалу. Ты сколько не жрал по-человечески, четыре дня? Пять? Нельзя сразу много, тем более жирное, — вывернет наизнанку, и вся радость. По чуть-чуть надо, с перерывами. Мне дед так говорил.

Саша посмотрел на Витины руки. Обшлага рукавов, ладони, под ногтями — всё было бурое, ссохшееся.

— Ты в крови.

— Потрошил. — Витя оглядел себя без всякого смущения. — Их же ободрать надо было, выпотрошить. Кто б ещё? Я в селе рос, у деда кролики были, полсотни голов. Он меня с семи лет ставил. Так что зайца я разделаю с закрытыми глазами. — Он усмехнулся. — Только вот ножа путного нету. Тем самым и возился, швейцарским, что мы у того мужика взяли. Полдня провозился. Он же складной, короткий, им шкуру снимать — маета.

Он придвинулся ближе, понизил голос:

— Дмитрич, ты вот послушай, я тут с утра поглядел, пока вы ходили. Люди эти — непростые. Совсем непростые. Ты видал, у них место отхожее отдельное, за холмом, шагов за полста? А шкуры, потроха — унесли и закопали, ещё дальше. Не бросили, где потрошили, — отнесли и закопали. Понимаешь?

— Чтобы на запах не шли.

— Во-от. — Витя откинулся, довольный, что его поняли. — Всё по уму. У них всё по уму, каждая мелочь. Мы у костра сидели, орали, срали где придётся — и нас жрали. А эти в норе сидят, тихо, без огня, отходы прячут — и живые. Они, Дмитрич, знают. Много знают. Больше, чем говорят.

— И не говорят, — сказал Саша, — потому что не доверяют.

— Точно. — Витя ткнул в него пальцем. — Вот и я об чём. Значит, чего нам надо? Надо себя показать. Чтоб не обузой, чтоб полезными. Чтоб они на нас поглядели и решили: этих можно. Тогда и скажут. — Он помолчал и добавил тише, без хитринки: — Потому что без них мы, Дмитрич, покойники. Как та поляна.

Саша молчал. Он думал то же самое всю дорогу обратно, и слышать это чужим голосом было странно и почему-то легче.

— Согласен, — сказал он.

Он кивнул на котелок:

— А супец хорош.

— Да ладно.

— Лучшее, что я ел в своей жизни.

Витя захохотал — коротко, громко, и сам испугался своего смеха, оглянулся на лес.

* * *

— Собирайтесь, — сказал Владимир, ни к кому и ко всем. — Уходим.

Витя засуетился, стал сгребать вещи. Из-под корней выбралась девушка. Выпрямилась, шагнула — и Саша увидел, что она хромает: правую ногу ставит осторожно, переносит вес на носок.

— Помоги ей, — сказал Владимир. — Сумку возьми.

Саша взял сумку.

— Откуда вы столько знаете? — спросил он.

Он спросил прямо, глядя Владимиру в лицо, потому что копьё, которое он нёс от самой поляны, требовало прямого вопроса.

— Про отходы, про запах, про то, куда идти. Про всё. Вы тут сколько?

Владимир выпрямился. Посмотрел на него сверху вниз — не зло, а как смотрят на подчинённого, который лезет не по чину.

— Тебя взяли не вопросы задавать.

И тогда, уже другим тоном — не отвечая на вопрос, а объясняя раз и навсегда, как объясняют новобранцу устав, — заговорил:

— Слушай сюда, один раз скажу. Мы здесь на порядок дольше вашего. Мы не заблудились. Мы не в лесу под Тверью. Это другой мир. У него своя география, свои законы и своя жизнь, и жизнь эта нас не ждала. — Он говорил без нажима, и от этой ровности было хуже, чем от крика. — Лес поделён. Не нами. У каждой твари своя земля: волки — с лошадь ростом, у них своё; гоблины, как вы их зовёте, — у них своё, они семьями живут, гнёздами; и есть ещё, кого мы не видали и видеть не хотим. Идёшь через чужую землю — плати. Обычно собой.

Он оглядел их пятерых.

— Людей сюда кидает. Не первый раз и не последний. Только не живут они долго. Выживают дисциплинированные. Остальные — вон, лежат на вашей поляне. — Он помолчал. — Правила у нас армейские. Сказали — сделал. Не понравилось — свободен, лес большой. Держать никого не станем.

Саша молчал.

Он молчал и чувствовал, как из него уходит то последнее, за что он держался все эти дни, сам себе не признаваясь: надежда, что это всё-таки как-то объяснится. Что это остров, испытание, эксперимент, что-нибудь, откуда есть выход. Он догадывался. Он почти знал. Но пока не сказали вслух — можно было не додумывать до конца.

Теперь сказали.

Он посмотрел на своих. Витя завязывал рюкзак и не поднимал головы. Олег кивал так, будто ему подтвердили расписание автобуса. Денис смотрел в землю. Мария стояла, стиснув зубы, и на скулах у неё ходили желваки — армейские правила и «не понравилось — свободен» она глотала, как глотают битое стекло, и Саша видел, чего ей это стоит.

Он поймал её взгляд и еле заметно качнул головой: не сейчас.

Она отвернулась.

И Саша сказал Владимиру то самое, что должен был сказать человек в его положении, — ничего:

— Понял.

Он был в позиции слабого и знал это точно, как знал вчерашние калории и литры. Спорить, когда за тобой четверо голодных и ни одного козыря, — не смелость, а глупость. Он подождёт. Он будет исполнять, кивать, тащить сумки и присматриваться, — до тех пор, пока не увидит, чем это можно изменить.

* * *

Главная беда, объяснил на ходу Матвей, была в том, что они не знают, где у гоблинов гнездо.

— В том и штука. — Он шёл налегке, поигрывая прутиком. — Земля ихняя — вот она, мы по ней топаем. А где середина, где логово — не знаем. Можно неделю ходить и не встретить. А можно вылезти прямо на них. Потому идём и слушаем.

— И что тогда? — спросил Витя. — Если вылезем.

— Тогда драка, — сказал Матвей. — Или беготня. Как повезёт.

— Наша задача, — Владимир обернулся, — простая. Держать нас в силе. Пока мы отдохнувшие и сытые — вы живы. Понадобится — вы копаете, тащите, дежурите, готовите. Мы — спим и едим. Вам это может не нравиться. Мне не нравится вам это говорить. Но это так работает.

Саша про себя отметил, что это первая честная вещь, которую тот сказал.

— Река, — сказал Матвей. — Ищем реку. Мне люди говорили, есть тут река, большая. У реки жить можно: вода, рыба, и по берегу идти — не заплутаешь.

— Какие люди? — спросила Мария.

Матвей ковырнул прутиком землю.

— Были люди. Мы с ними не сошлись.

Он сказал это так, что переспрашивать никто не стал.

Зато Олег вдруг оживился, догнал Матвея, пошёл рядом.

— А вы откуда шли, когда их встретили? Примерно. Солнце где было — в лицо, в спину?

— В спину, к вечеру.

— А они куда шли?

— Наискось нам, вниз.

— А местность как? Подъём был, спуск?

Матвей отвечал сперва нехотя, потом втянулся; Олег спрашивал ещё — про склоны, про то, куда стекала вода в ложбинах, про то, где земля была сырее, — и в лице у него было то же, что тогда, ночью, под чужими звёздами: человек делал понятную ему работу.

— Значит, туда, — сказал он наконец и показал рукой северо-восточнее того, куда они шли. — Вода вниз бежит, а низ у нас там. Ручей мы вчерашний где нашли? В ложине. И бежал он туда же. Ручьи в речки собираются, речки — в реку. Если она тут есть и не маленькая, мы либо в неё упрёмся, либо в приток. Только идти надо не как сейчас, а вон туда.

Владимир остановился. Посмотрел на Олега — так, как давеча на Сашу, когда тот предлагал сделку: оценивающе, заново.

— Идём туда, — сказал он.

* * *

Шли молча.

Молчали долго, час, другой, и от этого молчания Саше делалось всё неудобнее — оно было не усталое, а какое-то настороженное, будто все всех сторожили. И он, сам от себя не ожидая, сказал вслух — в спину Владимиру, глупо и не вовремя:

— Знаете, чего я всё думаю? Что мне за это даже отгулов не дадут.

Тишина.

Никто не отозвался. Саша мгновенно почувствовал себя идиотом — сказал ерунду, при чужих, при этих, у которых армейские правила, — и уже открыл рот, чтобы как-то замять.

— Отгулы отгуляешь, — сказал, не оборачиваясь, Владимир. — С таким-то графиком. Годовой отпуск точно накопил.

Витя фыркнул. Олег хмыкнул. Мария коротко, некрасиво хохотнула — первый раз за все дни, — и осеклась. И дальше шли, всё так же молча, но молчание стало другое, помягче.

Шли медленно из-за девушки. Она хромала всё заметнее, к середине дня уже прихрамывала на каждом шаге, но не отставала и не жаловалась. Саша нёс её сумку. В какой-то момент поравнялся.

— Сильно?

— Терпимо.

— Как это вышло?

— За зайцем гналась, — сказала она, не глядя. — Оступилась. Нога в нору попала.

Саша шёл рядом и думал, что человек не гоняется за зайцем. Человек за зайцем не угонится в принципе; заяц делает тридцать в час и виляет. Ни один человек в мире не берёт зайца бегом, и уж тем более двух, и уж тем более за полтора часа, и уж тем более без силка, лука, собаки и вообще чего бы то ни было. Он сложил это к остальному — к тому, что она вернулась ещё до полудня, и к тому, что Матвей позавчера в темноте взял трёх падальщиков, которых полсотни человек с колями взять не смогли.

Она обернулась и посмотрела на него — прямо, спокойно, без вызова: увидела, что он не поверил, и ей было всё равно.

— Не мучайся, — сказал сзади Матвей. — Она у нас по зайцам. Что заяц, что кто. Догонит и заездит, кроличья душа. — И добавил такое, от чего Витя присвистнул, а Олег кашлянул.

— Матвей, — сказала девушка, не оборачиваясь и не меняя тона, — с твоим-то опытом ты бы помалкивал. Тебя же догонять не приходилось. Ты сам ложился.

Витя заржал. Матвей заржал громче всех, довольный, будто именно этого и добивался. Владимир на них даже не оглянулся — с видом человека, который слушает это годами.

Саша шёл и не мог понять, кто они друг другу.

* * *

К вечеру не встретили никого — ни человека, ни твари, ни реки.

Место для ночлега было плохое: ровный редкий лес, ни оврага, ни камня, ни вывороченного корня. Владимир выбрал прогалину пожиже и приказал заготовить хворост на два костра.

— Дежурим по двое, — сказал он. — Один наш, один ваш. Всю ночь.

— Мы теперь одна группа, — сказал Саша.

Владимир не ответил. Просто посмотрел, и Саша понял, что «одна группа» — это то, что говорит слабый сильному, и что вслух этого лучше не повторять.

— Тогда так, — сказал Саша. — Дежурим по двое, но наши. Сначала мы с Марией. Потом я и Олег. Под утро Витя с Денисом. Ваши спят всю ночь.

Владимир поднял бровь.

— С чего щедрость?

— Не щедрость. Вы сами сказали: пока вы в силе — мы живы. — Саша пожал плечами. — Значит, вам спать всю ночь, а нам дежурить. Логично.

Что-то в лице Владимира дрогнуло — почти удовольствие. Он кивнул.

— Годится.

Он ушёл к костру, а Саша поймал взгляд Марии — злой, короткий, всё понимающий: она видела, что он не поддался и не выслужился, а купил. Отдал ночь и получил взамен то, чего Владимир не заметил: теперь Саша решал, кто и когда спит из его людей. Мелочь. Но первая.

* * *

В первую смену они с Марией сидели у костра и молчали, а потом разговорились — тихо, чтоб не будить.

— Смешно, — сказала Мария, глядя в огонь. — Три дня назад я в юбке сидела, договор поставки правила. Пункт про форс-мажор. Прямо вот этот пункт: обстоятельства непреодолимой силы. Землетрясения, наводнения, военные действия. — Она усмехнулась. — Не тот форс-мажор мы прописывали, Саш.

— Не тот.

— Я вчера, знаешь, о чём думала? Что у меня отчёт в понедельник не сдан. Всерьёз думала, минуты три. Потом дошло.

Она подкинула ветку.

— А я ведь могла раньше сутками не спать. Реально. На третьем курсе — пятница, суббота, воскресенье, всё сплошняком, и в понедельник на пары. И ничего. А сейчас третью ночь не сплю толком — и всё, разваливаюсь.

— Так и сейчас смогла бы, — сказал Саша. — Был бы алкоголь.

Она фыркнула.

— Был бы алкоголь — я б тут всех перепила и построила.

Саша посмотрел на неё сбоку. Он вспомнил её резюме — ровное, чистое, с правильными формулировками, — и собеседование, на котором она отвечала гладко и по существу.

— Я, честно, не подумал бы, что ты из этих. У тебя резюме было — образцовое.

— Ага. — Мария смотрела в огонь и улыбалась чему-то. — Я там наврала почти везде. Опыт приписала, проект придумала, рекомендации — от знакомой. — Она пожала плечами без всякого раскаяния. — Иначе б меня не позвали даже. А вот последние два курса — правда. Вот там я реально впряглась. Прочла всё, что двигалось, на практику ходила бесплатно, лишь бы пустили. Так что вру я в бумажках, а работать умею.

— Заметно, — сказал Саша, и это была правда.

Он видел, что она держится на одном упорстве: под глазами залегло чёрное, руки подрагивали, когда она подкидывала хворост.

— Иди ложись.

— Мы дежури́м вдвоём.

— Я один пару часов высижу. Смотреть в темноту вдвоём не вдвое лучше. Иди.

Она поспорила ровно два раза, для порядка, и легла — тут же, у костра, свернувшись. Но не заснула: Саша видел, что глаза закрыты, а дыхание неровное, и что она просто лежит.

Он сидел, подкидывал ветки и думал ни о чём — мысли ходили сами, вязко. Посмотрел на неё. Отсветы ходили по лицу, по скуле, по спутанным волосам; она была красивая, вдруг понял он, — худая, слишком, ключицы торчат, груди почти нет, — а красивая. И тут же поймал себя на этой мысли и удивился ей: сидит в чужом лесу, третьи сутки на дежурстве, вокруг темнота с гоблинами, — а голова всё равно находит время подумать, что женщина рядом хороша собой. Живучая всё-таки штука.

Вдалеке треснула ветка.

Саша подорвался. Мария вскочила одновременно с ним — значит, не спала совсем. Оба замерли, вслушиваясь, и лес стоял чёрный и тихий, и в этой тишине было слышно, как трещит их костёр и как дышит рядом Олег.

Ничего. Ни звука больше.

— Мне же не показалось, — сказал Саша шёпотом.

— Не показалось. Я тоже слышала.

Они простояли ещё минут пятнадцать, вглядываясь в темноту, пока ноги не устали от напряжения. Лес молчал. Мария наконец легла снова — и на этот раз уснула сразу, как проваливаются.

* * *

Олега Саша разбудил в свою вторую смену, тронув за плечо.

Тот открыл глаза сразу, будто и не спал, сел, потёр лицо и поднялся — буднично, без единого сто́на, как встают на работу.

— Как ты так? — не выдержал Саша. — Ты два часа поспал.

— Два с половиной. — Олег устраивался у костра, подгребая угли. — Мне хватает, Александр Дмитриевич. Я чем старше, тем меньше сплю. Оно у всех так, после сорока особенно, а я вон уж подбираюсь.

— Тебе тридцать пять.

— Ну. — Олег усмехнулся. — А по ощущениям все шестьдесят. — Он помолчал, поправил ветку. — Да я и привык. Я ж не сразу в юристы-то попал. Я после армии в военную полицию пошёл, там сутки через двое, а то и подряд. Потом ушёл в дальнóбой, лет семь за баранкой: три часа поспал на стоянке — и дальше поехал. Оно и въелось. Уже когда спина села да сердце шалить начало — вспомнил, что у меня корочка юридическая с заочки лежит, никому не нужная. Вот и пошёл бумажки перебирать, к вам.

Саша слушал и думал, что вот этот человек — которого он три года считал безобидным исполнителем, которого перепроверял, за которого думал, — оказался единственным из них, кто ко всему этому был готов. Умел ориентироваться. Умел не спать. Умел терпеть. Не хватал звёзд с неба и не собирался, — просто делал, что скажут, и делал хорошо, а теперь выяснилось, что делать он умеет как раз то, что здесь нужно.

— Ложитесь, Александр Дмитриевич. Я подежурю. Вы совсем серый.

Саша лёг у костра. Олег что-то ещё говорил — про то, что дрова надо бы подсушить, и что утром роса, и что если река, то там комарьё́ будет, а комарьё́ — это плохо, но и хорошо, потому что где комарьё́, там и вода, — говорил однóто́нно, вполголоса, себе под нос.

Голос его удалялся.

Глава шестая

Комарья не было и на третий день.

Олег отмечал это каждое утро — не жаловался, а сверялся, как сверяются с прибором, который врёт: если бы река была близко, к вечеру бы звенело. Не звенело. Шли на северо-восток, лес редел, под ногами всё чаще попадался камень, и однажды к полудню Витя сказал, что земля пахнет иначе, и его подняли на смех, а к вечеру оказалось, что он прав.

На четвёртый день вышли к гряде.

Она поднималась от леса пологим горбом, заросшим по склону низким корявым кустарником, и с неё, сказал Олег, будет видно. Он шёл впереди последние полверсты и лез вверх быстрее всех, и на гребне остановился и стоял, не оборачиваясь.

Саша поднялся к нему и увидел воду.

Река лежала внизу, в широкой пойме, и была не такая, какую он себе представлял: не полоса, а разлив, светлый, мелкий, разбитый на рукава косами голого песка. Она шла медленно. Течения почти не было видно — только по тому, как тянуло вниз траву на отмелях. Другой берег стоял в полутора сотнях шагов, низкий, поросший ивняком, и за ивняком угадывалась ровная светлая полоса, какой не бывает в лесу.

— Перейти можно, — сказал Олег. — Вон там, где косой. По колено, ну по пояс. Даже раздеваться не надо.

Мария опустила на землю, где стояла, и просто села.

Никто ничего не сказал. Саша смотрел вниз и чувствовал, как в нём отпускает то, что держало четыре дня и о чём он не позволял себе думать: сколько они пройдут, если реки не окажется.

— Тихо, — сказал Владимир.

Он не смотрел на воду. Он смотрел левее, вниз по течению, где пойма загибалась и где над ивняком стоял дым.

Саша лёг рядом и стал смотреть туда же.

Их было девять.

Саша считал долго, потому что часть сидела, часть ходила, и двое всё время оказывались за деревом. Девять человек, три лошади и собаки.

Собаки первыми и объяснили, что это. Их было четыре или пять, поджарых, длинных, и они не сторожили — валялись в тени, вытянув лапы, как валяются собаки после работы. У воды стоял человек и мыл в реке что-то тёмное, и вокруг него на песке лежало разложенное.

— Охота, — сказал Матвей. — Отохотились и жрут.

На вертеле над костром висело мелкое, в четыре тушки; человек поворачивал вертел, и над костром стоял чистый белый дым.

Одежда была не крестьянская. Он не знал, какая тут крестьянская, но эта была цветная — синее, красное, — и на двоих поверх цветного лежало что-то тускло-блестящее. Металл. У одного на бедре висело длинное, в ножнах, и он ходил с этим так, как ходят с привычной тяжестью.

В середине, спиной к реке, сидел человек, вокруг которого всё двигалось.

Его было видно по остальным. Ему подносили. Когда он говорил, поворачивались. Он сидел на чём-то положенном отдельно, не на земле, и держал в руке что-то, из чего пил, и один раз откинулся и засмеялся, и Саша услышал этот смех через полверсты — короткий, сытый, свободный.

Слов было не разобрать. Только голоса — низкий мужской гул, в котором иногда взлетал один, и все отзывались.

Люди. Настоящие, местные, живые, которые здесь дома и которым не страшно.

Саша поймал себя на том, что смотрит на вертел.

Он отвёл глаза и посмотрел на своих.

Витя лежал на животе у самого гребня, вытянув шею, и губы у него шевелились — он считал лошадей, или собак, или пересчитывал, сколько чего можно взять. Олег смотрел не на людей, а на берег, и Саша знал, что он смотрит: куда там дальше идёт вода. Мария смотрела на костёр так, как смотрят на еду. Денис ни на что не смотрел.

Потом Саша посмотрел на троицу — и увидел то, чего не ждал.

Они не удивились.

Матвей сидел на корточках, обхватив колени, и лицо у него было сосредоточенное, скучное, служебное — так смотрят на работу, которую придётся делать. Женя лежала рядом с Владимиром и молчала. А Владимир не смотрел на охотников вовсе.

Он смотрел выше по берегу, туда, где ивняк подходил к воде густо и где ничего не было.

Саша проследил его взгляд и не увидел ничего. Кусты и кусты.

— Владимир Николаич, — сказал Витя шёпотом, не отрывая глаз от вертела. — А может, к ним? Люди же. Мы им ножик, они нам поесть. У меня и товар есть, я найду чего.

Владимир не ответил.

— Владимир, — сказала Мария громче, чем следовало.

— Тихо.

Он сказал это не так, как говорил обычно. Обычно он командовал. Сейчас он просто велел замолчать — так велят, когда слушают.

Матвей и Женя переглянулись — быстро, поверх Сашиной головы. Саша перехватил это и отложил.

Они не решали, подходить или нет. Они решали что-то другое, и они это уже решали раньше, не сегодня.

Женя приподнялась на локте.

— Ниже, — сказала она.

Она показала подбородком вниз по склону, левее, шагов за триста от костра, где ивняк начинал редеть и переходил в кусты покрупнее.

Саша долго не видел ничего. Потом кусты шевельнулись не так, как шевелит ветер, — качнулись против, разом, в одном месте.

Там сидели люди.

Он различил сначала одного: тот стоял на коленях, чуть подавшись вперёд, и голова у него была голая и круглая, и рядом с ним что-то белело — рука или лицо второго. Они не прятались от Саши. Они прятались от костра: сидели так, чтобы между ними и охотниками был куст.

Одеты они были не как те, у костра. Тёмное, бесформенное, мешковатое. Что-то в этом царапало, и не сразу стало ясно что.

Один из них был в кроссовках.

Белая подошва, полоса по борту. Он лежал на боку, поджав ноги, и подошвы были повернуты вверх по склону, и это было единственное во всей пойме, что Саша узнал.

Он услышал, как рядом с ним Мария втянула воздух.

— Наши, — прошептал Витя. — Дмитрич, наши же. Свои!

— Молчи, — сказал Владимир.

И тогда рядом с человеком в кроссовках из травы поднялось то, что там лежало.

Оно поднялось на четвереньки, потом выпрямилось. Серая спина, длинные руки, приплюснутая голова. Гоблин. Он стоял в двух шагах от человека, боком, и человек не отодвинулся.

Витя издал звук.

Саша смотрел и ждал, что сейчас случится то, что случалось всегда, — и ничего не случилось. Гоблин повернул морду к человеку. Человек поднял руку и сделал ею — не отмахнулся, а показал: коротко, ладонью, вниз и в сторону. Гоблин присел обратно.

Он не был как те, на поляне. Те были голые, тощие, драные. У этого поперёк груди шла перевязь, и на ней висело, и на предплечьях было намотано что-то, и в шерсти на плече торчало перо.

Он глянул на Владимира.

Владимир смотрел вниз, и лицо у него было каменное, и Саша понял по этому лицу главное: тот не удивлён. Он не ищет объяснения. Он смотрит на то, что и ожидал увидеть.

И тогда кусты плюнули.

Саша не разобрал, чем — что-то ушло от них к костру быстрее, чем он успел проследить, и за этим что-то в воздухе осталась висеть тонкая голубая полоса, как остаётся след от бенгальского огня, если водить им в темноте.

Человек, вокруг которого всё двигалось, ещё смеялся.

Его сложило пополам и снесло с того, на чём он сидел.

Он упал на бок, на песок, и все, кто был рядом, повернулись к нему разом. Один нагнулся над ним и тут же отшатнулся. Из груди у лежащего торчало.

Оно торчало на две ладони и было светлое, серое, гранёное — Саша сначала подумал, лёд, — и оно уже уходило. Края у него дымились и делались прозрачными, и от него вверх шла та же голубизна, тонкими нитями. Оно таяло на глазах, и по мере того как оно таяло, открывалось то, что оно проделало.

Дыра.

В человеке была дыра, и через неё было видно песок.

Он был мёртв в ту же секунду, когда его согнуло.

Собаки заорали первыми.

Они вскочили все разом, взлаяли — и не пошли к кустам, а шарахнулись от них, и одна кинулась в воду и поплыла поперёк, и её стало сносить.

Из ивняка вышли гоблины.

Их было много. Саша сбился на второй дюжине: они шли из кустов сплошняком, вниз по берегу, разворачиваясь на бегу в широкую подкову — как разворачивались тогда, на поляне, вдоль края, — и в этот раз он видел это сверху и видел, что подкова ровная.

Они были не одичалые. У передних в руках были копы с каменными наконечниками, у двоих — что-то длинное, обмотанное.

Свита рыцаря — Саша не знал, как их звать, и назвал про себя свитой — не побежала.

Их было восемь на месте убитого, и они успели. Тот, что мыл в реке, бросил своё и рванул к костру, где уже разбирали разложенное на песке, и один поднял над головой круглое и надел на руку.

Первого гоблина взяли на копьё.

Это вышло так быстро и так буднично, что Саша не понял, что произошло, пока не увидел результат: гоблин налетел, человек присел, выставив, и гоблин прошёл на него сам, и его вздёнуло и отбросило в сторону, и он покатился, суча ногами. Второму рассекли. Длинное в руках у человека пошло сверху вниз, гоблин сложился надвое и сел, и из него на песок вышло тёмное, много и сразу.

Они умели драться, эти восемь. Первую волну они выбили — четверых, пятерых, Саша не считал, потому что не успевал.

Потом гоблины перестали бежать в лоб.

Подкова стала охватывать, и в ней открылось то же, что Саша видел с земли в первую ночь: они не давили, они гнали. Один заходил и отскакивал, а бил другой — сзади, в спину, в ногу.

С холма это звучало не как бой. Это звучало как работа на скотобойне — вскрики, рычание, тупые удары, и один голос, который кричал долго на одной ноте, пока не оборвался.

А из кустов вышли люди.

Их было шестеро. Они вышли не спеша, уже после того как всё началось, и пошли вниз по берегу неторопливо, и Саша по одной этой неторопливости понял, чем всё кончится.

Шедший вторым остановился, поднял руку и толкнул ею воздух от себя.

Ничего не полетело. Саша не увидел ни следа, ни искры — просто в воздухе перед человеком что-то пошло рябью, как идёт над раскалённым камнем, и рябь ушла вперёд веером.

Троих в этом веере срезало.

Двух гоблинов и человека. Гоблины упали сразу, и один из них дёргался; человек — тот, что надел на руку круглое, — не упал. Он сделал два шага, и с него потекло, и Саша с полуверсты увидел, что у него нет части лица. Он ещё стоял. Потом сел.

Своих задело так же, как чужих. Человек, толкнувший воздух, не выбирал.

— Господи, — сказал Витя. — Господи, Дмитрич.

Третий из вышедших поднял обе руки над головой.

Он держал их так секунду, две, три, и Саша уже решил, что ничего не будет, и в это время земля возле последнего живого из свиты вспучилась.

Она вспучилась и лопнула, и из неё вышло.

Оно было толщиной в человека и шло вверх коленом, слепо, поводя концом, и оно было не деревянное и не звериное — оно было как корень, которому дали шею. Оно нашло человека сразу. Обвило его поперёк, от бедра до плеча, подняло над песком и сжало.

Саша слышал.

С полуверсты, через реку, поверх воды — слышал, как в человеке разом переломилось всё. Это был один звук, короткий и множественный, будто наступили на охапку сухого хвороста.

Оно раскрыло виток и уронило то, что осталось.

И тут же тот, кто поднял руки, упал сам.

Он упал не как падают убитые — как падает человек, из которого вынули опору: колени, потом бок, потом лицом. Двое подбежали к нему, и один сел рядом и приподнял ему голову.

Корень постоял ещё, качаясь, и стал оседать в землю, и осел не до конца — из песка остался торчать чёрный обрубок, как пень.

* * *

Дальше Саша смотрел уже без мыслей.

Гоблины добивали. Они ходили по песку между лежащими и добивали тех, кто ещё шевелился, деловито, как добивали бы рыбу. Двоих своих раненых они добили тоже, и Саша не сразу понял, что это было.

Собак взяли всех, кроме той, что уплыла. Её сносило по разливу, и она вышла далеко внизу, на косу, и стояла там, и её не стали доставать.

Потом стали разбирать.

С убитых снимали. Сначала металл — то тускло-блестящее, что было на двоих, — снимали долго, вдвоём, переворачивая тело. Потом одежду. Потом обувь. Гоблин сел на песок и стал стягивать сапог, упершись ногой в чужую ногу, и второй ждал своей очереди.

Лошадей увели. Три лошади стояли смирно, и человек, обычный человек в мешковатом, взял их под уздцы всех трёх и повёл, и они пошли за ним.

Убитого первым — того, вокруг которого всё двигалось, — оставили напоследок. К нему подошёл шедший вторым, тот, что толкнул воздух. Он присел над телом надолго. Он не снимал с него ничего. Он смотрел ему в лицо, и один раз повернул его голову за подбородок, к свету.

Потом поднялся и что-то сказал, и гоблин, стоявший рядом, отошёл и махнул своим.

Тела стащили в одно место, к воде.

И только когда стало ясно, что дальше будут таскать долго и что всё уже кончилось, Саша заметил, что вертел так и висит над костром и что мясо на нём горит.

* * *

— Назад, — сказал Владимир. — По одному. Не вставать.

Они сползли с гребня на брюхе, задом, и Саша полз и думал только о том, чтобы под ним не поехал камень.

Внизу, за грядой, где холм закрывал пойму, все встали.

Витя стоял согнувшись, упершись ладонями в колени, и его вырвало — жёлчью, потому что больше нечем. Мария смотрела в землю. Денис сел там, где стоял. Олег стоял прямо и держал под мышкой свои копы и был единственный, кто выглядел как всегда, и только потом Саша заметил, что у него трясётся кисть.

— Наши это были, — сказал Витя, разгибаясь и вытирая рот. — Дмитрич. Люди. Русские, я по кроссовкам... — Он не договорил.

— Уходим, — сказал Владимир. — Обратно на юг, вдоль гряды. Ходу до темноты.

Мария подняла голову.

— Мы к ней шли и дошли. Она вон.

— Уходим.

— Мы её всю дорогу искали!

Владимир повернулся к ней, и Саша шагнул вперёд, между, — не сказав ничего, просто оказался между ними, — и Мария осеклась не на Владимире, а на его спине.

— Вечером, — сказал Владимир. — Вечером скажу. Сейчас — ходу.

Он пошёл первым, и Матвей за ним, и Женя, и всем пришлось идти.

Саша шёл предпоследним и всю дорогу думал не о дыре в груди, не о корне и не о звуке. Он думал о том, как человек в кроссовках поднял ладонь и показал вниз, и как гоблин присел.

Их было шестеро на два десятка гоблинов, и гоблины делали, что им показывают.

Значит, это работает, подумал Саша. Значит, это возможно, и кто-то уже.

Он нёс это в себе полдня, и сказать было некому.

* * *

Встали затемно, под сухой осыпью, где можно было прислониться спиной к камню.

Костра Владимир не разрешил. Ели всухую — вяленое мясо падалыщика, твёрдое, как ремень, — и жевали долго, и Саша поймал себя на том, что не помнит вкуса того, что жуёт.

Витя сидел, обняв колени, и первый раз за все дни ничего не говорил.

— Слушайте, — сказал Владимир.

Он не встал, не повысил голоса. Сел поудобнее, спиной к камню, и заговорил, и все повернулись.

— Те, что в кустах, — наши. Земляне. Такие же, как вы, только раньше.

— Насколько раньше? — спросил Саша.

— Раньше. — Владимир помолчал. — Я с ними был.

Мария подняла голову.

— Был и ушёл, — сказал Владимир. — Втроём ушли. Мы с ними не сошлись, я вам говорил.

— Не сошлись, — повторил Витя. — Это оно и есть? Вот это вот — не сошлись?

— Это.

Он дал им помолчать.

— Больше вам знать сейчас не надо, и я не скажу. Что надо — скажу, когда понадобится.

— А если мы спросим? — сказала Мария.

— Спрашивайте.

Он сказал это без вызова, буднично, и от этого было понятнее, чем от отказа: спрашивайте сколько хотите.

Саша сидел и смотрел на него.

— Одно скажу, — сказал Владимир, и в первый раз за вечер он посмотрел не на Сашу, а на Марию. — Вы сегодня посмотрели и решили, что видели силу. Вы видели силу, да. Только вы не всё видели.

Он поднял руку и показал двумя пальцами куда-то за плечо, в темноту, где сидели его.

— Тот, что руки поднял, — упал. Видели? Его унесли на себе. Он теперь сутки не работник, а то и трое. У каждого своё, и у каждого своя плата, и они её платят, и мы её платим. — Он опустил руку. — Мы не слабее их. Мы их меньше.

Стало слышно, как Витя перестал жевать.

— Тогда чего мы бежим? — сказал он.

— Мы не бежим. Мы идём вдоль гряды на юг, там река сужается, брод хуже, зато берег глухой. Перейдём ниже, в двух днях. — Владимир устраивался спиной к камню, и по голосу было слышно, что он заканчивает. — За рекой земля того, кого сегодня положили. Деревни, люди, хлеб. О том, что он мёртвый, там ещё не знают.

Он закрыл глаза.

— Первая смена — ваши. Как вчера.

Саша сидел у камня и слушал, как дышат спящие.

Он думал не о деревнях и не о хлебе. Он думал о том, что Владимир сказал «мы не слабее их» — и что человеку, который просто уходит от других людей, незачем взвешивать себя с ними на весах.

Так говорят не про тех, от кого ушли.

Так говорят про тех, с кем ещё придётся.

Глава седьмая

Форт не походил на те крепости, что Шейм видел на гравюрах.

Те были прямые и злые, сложенные для одного: чтобы враг разбился об их стены. Стража Бабочек стояла иначе. Она вжилась в холм, обтекла его, как застывшая смола, и оттого казалась меньше, чем была. Обман раскрылся у самого моста, когда Шейм поднял голову: стена уходила вверх на три человеческих роста, за зубцами поднимались крыши внутренних строений, а над ними — башни, и над башнями ещё одна, самая высокая.

Ров был сухой.

Шейм отметил это с неудовольствием, как отмечают неубранный двор: воды в нём не стояло, дно поросло жёсткой травой, и по траве ходили две козы. Он знал по книгам, что сухой ров держит не хуже мокрого, а в осаде даже лучше, потому что мокрый замерзает. Он это знал. И всё равно ему хотелось, чтобы вода была.

— Не смотри так, — сказал отец, не оборачиваясь. — Тут всё не так, как в книжке. Привыкай.

Гив Гриббалди шёл впереди, чуть сутулясь, пряча что-то за спиной, и Шейм не сразу понял что. Отец водил его по замкам с детства и всегда держался в них одинаково — хозяином, которого сюда пустили. Здесь, у этой стены, в нём было другое.

— Ты здесь служил, отец?

— Нет. Здесь служил тот, кто стал моим другом.

Кладка внизу шла крупная, неровная, из глыб, которые никто теперь не поднял бы; выше камень мельчал, делался суше, и по трём сменам кладки читались три эпохи, как читаются годы по срезу пня.

Ворота были открыты, и в них шли. Шли телеги, шли навьюченные, шёл пеший народ, и стража у прохода не досматривала никого — стояла и смотрела, и один зевал в кулак.

За воротами начиналось то, чего Шейм не ждал.

Он ждал двора. Двор был — с тремя колодцами и фонтаном посередине, сложенным из тёмного камня, с фигурой женщины, у которой вместо лица была пустота. Вода в чаше шла кверху сама, без всякого колеса, и в ней плавали листья, и мальчишки сидели на бортике, свесив ноги.

Но за двором стояло ещё, и за тем ещё.

Улица уходила вглубь и раздваивалась, над ней висело бельё, где-то били молотом, тянуло навозом, горячим камнем и — поверх всего — чем-то сладким, вроде горелого мёда. Люди шли в три ряда. До цитадели было идти и идти.

Шейм оглянулся на ворота.

Он видел эту стену снаружи. Он объехал её по дуге, подходя с востока, и запомнил, потому что запоминал всё: стена шла по валу и замыкалась шагов через полтораэта.

Внутри полтораэта шагов кончились через сорок, а дальше стояли улицы.

— Отец.

— Ну.

— Тут не сходится.

Гив усмехнулся так, будто ждал этого вопроса и держал ответ наготове целый год.

— А ты думал, почему сюда все прут? — Он повёл рукой, коротко, хозяйски. — Внутри места вчетверо. Кто говорит, что больше. Оно тут само так стоит с тех ещё времён, и никто не знает, как поправить, если сломается.

— Это дорого стоит.

— Всё дорого стоит, — сказал отец. — Тут за это платят порошком. Молчи и смотри.

У второй стены они спешили, отдали коней и дальше пошли пешком.

— Алхимический угол, — сказал Гив, перехватив взгляд сына. — Пойдём. Теурус не простит, если мы не заглянем.

Они свернули влево, мимо ряда низких казарм, и двор кончился.

Вместо него открылся сад.

Он был вписан в крепостную стену — прямоугольник, укрытый от ветра, и воздух в нём стоял другой: тёплый, влажный, пахнувший прелой землёй и чем-то кислым. Шум улицы обрывался у ограды, будто его отрезали ножом. Шейм оглянулся и увидел за спиной ту же толпу и тот же молот, и молота не было слышно.

Вдоль дорожек, выложенных серым камнем, росло то, чего в поле не растёт.

Шейм узнавал по рисункам из ботанического атласа Малого Двора — единственной книги, которую он выучил от корки до корки, потому что наставник сказал, что для инквизитора она бесполезна.

— Это ночницы, — сказал он, останавливаясь у гроздьев бледно-голубых цветов, светившихся изнутри. — Если коснуться — светят трое суток. Сна не будет, зато допрос можно вести хоть до упаду. В старой империи их звали слезами допросчика.

Отец кашлянул.

— Откуда знаешь?

— В Малом Дворе есть живой образец. Подарок герцога, показывали на первом курсе. — Шейм усмехнулся. — Ты же хотел, чтобы я учился.

Дальше он пошёл быстрее, узнавая.

— Серебрянка. Пыльца идёт на чернила для приказов, которые нельзя прочесть дважды: текст живёт день и уходит. Если перетереть с воловьим жиром — час. — Он наклонился к низкому кусту с серыми листьями. — А это каменный мох. Его кладут в раствор для стен. Говорят, без него здешняя кладка не держится, земля рыхлая.

Гив молчал, и Шейм чувствовал на себе его взгляд — удивлённый и слегка растерянный. Отец привык объяснять сам.

В дальнем углу стояло дерево — белое, гладкое, без коры, с длинными ветвями, на которых висели коконы. Шейм остановился.

— Вот этого я не знаю.

— Кислородник, — сказал Гив, и в голосе у него впервые появилась твёрдость. — Ему нужна особая земля. Перегной из-под мёртвых корней, смешанный с пеплом светящихся грибов. Я её поставляю.

Он помолчал.

— Единственное, что я сюда поставляю. И то разрешение выбивал три года.

— Разрешение?

— На торговлю алхимическим сырьём. Без печати Малого Двора никак. — Гив взглянул на сына с кривой усмешкой. — Думаешь, я просто так таскал тебя по замкам? Я растил тебе имя, чтобы оно открывало двери. Теперь ты инквизитор — и мои разрешения стоят дороже. Потому что сын при Дворе.

Шейм не нашёлся что ответить.

Он пошёл к выходу и у самой ограды заметил на кусте трёх бабочек — крупных, с ладонь, серо-бурых и невзрачных. Он бы прошёл мимо, если бы одна не сложила крылья и не показала изнанку.

Изнанка была живая. Она светилась зелёным, слабо, как светится гнилушка, и свет шёл не по всему крылу, а полосами.

— Не лови, — сказал отец, не оборачиваясь. — За них тут вешают.

— За бабочку?

— За долю грана, — сказал Гив. — Ты потом на торгу цену спроси. И считать не берись, испортишь себе вечер.

— Господин Гриббалди.

У входа в сад стоял молодой человек в тёмном, с серебряной пряжкой на поясе. Лицо острое, резгливое.

— Ольд Вирей, помощник кастеляна. Кастелян ждёт.

Он развернулся и пошёл, не оглядываясь.

К башне вела лестница снаружи — узкая, с низкими перилами, вившаяся вокруг камня. Каждая ступень была чуть выше предыдущей. Через два десятка шагов Шейм почувствовал икру, через полсотни стало тяжело дышать. Ольд шёл впереди, не сбавляя. Отец отставал и не жаловался, только переводил дух, и во взгляде, который он бросал помощнику в спину, была не усталость.

Шейм считал повороты и сбился на девятом, потому что снаружи башня была не такая высокая.

На площадке перед дверью стояли люди.

Их было с десятков. Двое в дорожном, при пыли; купец с кожаной трубкой для бумаг; старик-крестьянин держал шапку обеими руками и стоял ближе всех к ступени, и по тому, как он стоял, было видно, что стоит давно. Женщина в дорогом плаще держала за руку мальчика.

— Мастер Гриббалди, — сказал Ольд и сошёл на ступень навстречу. — Вас ждут.

Он сказал это громко. Достаточно громко, чтобы слышали все, кто стоял.

Старик поднял голову. Купец шагнул было вперёд и остановился. Женщина подобрала полы плаща, освобождая проход.

Отец пошёл первым.

Он шёл прямо, глядя перед собой, ни на кого, и в спине у него ничего не изменилось, — и Шейм, который знал эту спину двадцать три года, увидел, что отец сейчас счастлив. Не польщён. Счастлив. И тут же, у самой двери, дёрнулся уголком рта — потому что счастье было чужое, отпущенное ему по чьей-то милости, и он это тоже понимал.

Ольд не поклонился. Он показал рукой.

Палата наверху была круглая, во всю башню, и заставлена книгами — не на полках, а стопками: на полу, на подоконнике, на сундуке у двери. Посреди стоял стол, и на столе лежали бумаги в порядке, какого Шейм не видел даже у отца. У окна, на подставке, стоял сосуд толстого стекла, и в нём двигалось зелёное.

Кастелян поднялся сам, опираясь на палку.

Теурус Брейнхорд был высок и сух, и волосы у него были белые, а брови ещё чёрные, отчего лицо казалось разделённым надвое. Очки на нём были странные: две тонкие пластины тёмного камня в серебре, и сквозь них глаза выглядели чёрными, без зрачков.

— Гив.

— Теурус.

Они взялись за плечи и стояли так дольше, чем берутся при встрече, и Шейм отвёл глаза.

— Ты потолстел.

— Я разбогател, — сказал отец. — Это одно и то же, ты не знал?

— Садись, разбогатевший.

Сели. Ольд встал у двери и сложил руки.

Говорили сначала ни о чём: про дорогу, про то, что мост на Гнилом броду опять смыло и опять не чинят, про подать, про то, что гвоздь пошёл дурной с восточных горнов и приходится брать втридорога у своих. Отец жаловался на цену железа и врал в полтора раза, и Теурус это знал, и оба получали от этого удовольствие.

Шейм сидел прямо и молчал, как учили.

— А у нас нынче праздник, — сказал Теурус, наливая. — Нынче к нам привезли Чудо-Бедствие.

Отец поднял брови вежливо.

— Это которое?

Шейм подался вперёд.

— Владыки держали ведьм, — сказал он. — Их пускали в деревни, в города, а случалось, и в целые королевства. Они творили чудеса, а за чудеса платила земля. Отсюда и название: сначала чудо, потом бедствие, и второе всегда больше первого. В хрониках Малого Двора описано девять случаев, и в шести из них местность после стояла пустая по три года и...

— Шейм.

Отец сказал это тихо.

— Ты перебил.

Шейм замолчал.

Теурус смотрел на него — не сердито и не одобрительно, а как смотрят на предмет, который взяли в руки и взвешивают. Он ничего не сказал. Он дал отцу договорить извинение и продолжил с того самого слова, на котором его сбили, будто ничего не было.

— Это которое, — повторил он. — Пришла девка в деревни на закрайке Мертволесья. Первое — обратила воду вином. Целый колодец, Гив. Пили три дня, пели, дурели. Свезли её в соседнюю деревню — там она обратила дерево сыром. Не всё дерево, а поленницу, но поленница была изрядная.

Отец засмеялся.

— Я бы посмотрел.

— Многие посмотрели. — Теурус не смеялся. — Её возили из деревни в деревню, как ярмарочного медведя. Своей волей возили, добром, и она шла. А на четвёртый день пошёл дождь.

Он поставил чашу.

— Солёный. Двое суток. Всё, что было под ним, вымерло на корню — рожь, огород, трава. Перед самой жатвой, Гив. Потом захворала скотина, вся разом, во всех трёх деревнях, и падёт до недели. Там сейчас четыре сотни человек, которым нечего есть зимой, и они пока не поняли, что им нечего есть зимой.

Стало слышно, как в сосуде у окна перемещается зелёное.

— Взяли её наши, — сказал Теурус. — В северной части Мертволесья, у ручья. Сидела босая, в одной рубахе, смотрела на воду. Подошли — не сопротивлялась.

Он отпил.

— Плохо другое, Гив, и я тебе скажу как другу, а не как кастелян. Это старая магия. Такой не было при мне ни разу, и при отце моём не было, и в бумагах последняя — при деде.

— Ты говорил, девять случаев, — сказал он, не глядя на Шейма. — В хрониках их одиннадцать. Два вымараны.

Шейм открыл рот и закрыл.

— И правильно вымараны, — сказал Теурус. — Тебе рано. Так вот, Гив: я отписал Верховному очистителю. Прошу адептов, дознавателей, кого дадут. И ещё я отправил на юг Витоса — Витоса Чёрный Ус, ты его знаешь, он у меня на той стороне держит две деревни. Велел пройти по низовью и посмотреть, что там делается, потому что если это лезет из Мертволесья, то лезет оно с юга.

— И что там делается?

— А вот не знаю, — сказал Теурус. — Он не вернулся.

— Давно ушёл?

— Четвёртый день. — Кастелян пожал плечом. — Витос может и на пятый прийти, с ним бывает: заедет к своим, поохотится, приведёт дичи и скажет, что дороги дурные. Я его за это ещё не бил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.